



1

Соблаговолите же, почтеннейшие, представить себе, как я, Менделе Мойхер-Сфорим, собственной персоной, глубоко задумавшись, стою осенней порой со своей тележкой где-то на дороге и не трогаюсь с места. Вам, быть может, заблагорассудится решить, что моя тележка увязла в грязи и я размышляю о том, как ее вытащить? Нет! Это было-таки в нынешнем пять тысяч шестьсот пятнадцатом году от сотворения мира¹, году, который благодаря своей на диво сухой восхитительной осени достоин быть занесенным в хроники.

На дворе еще стояло настоящее лето — было тепло, ясно. Скотина паслась на лугах, густо покрытых

¹ По современному летосчислению: 1855 год.

21

Менделе Мойхер -
Сфорим

Маленький
человечек

ר'יבן-ר'מין ר'בזרין

ע"י ר' ק' ס' ד'

ע' ע' ע' ע' ע' ע' ע'

молодой свежепробившейся зеленью. Деревья стояли в своей изжелта-зеленой одежде, правда, местами поблекшей, изъеденной, растрепавшейся по краям, но у них еще и в мыслях не было раздеться догола, чтобы предаться, как обычно, зимнему глубокому сну. Всюду в воздухе носились длинные белые нити паутины — примета предстоящей хорошей, благодатной погоды, хотя календарь предусматривал грустные пасмурные дни и холодные дожди. Он, не в обиду ему будь сказано, не угадал, наврал, как водится, весьма основательно... Но не в этом суть.

А может быть, вам еще вздумается предположить, что я стоял со своей тележкой, потому что не знал дороги? Еще раз нет! Я очень хорошо знал, что там, где дорога раздваивается, она направо ведет в Глупск, а налево — в какой-то другой городишко, скажем, Кабцанск. Почему же я стоял? Проще простого — я никак не мог решить, в какую сторону мне податься. У меня были основания ехать в Глупск, — обменять там кой-какие товары и сбыть малую толику вощаных фитилей и ханукальных свеч¹. Опять же у меня были причины съездить на ярмарку в тот, другой городишко, — вот я и стоял в затруднении посреди дороги — ни туда ни сюда. Размышляя, загляделся я на свою лошадку, которая спокойно почесывала шею об оглоблю и была, видимо, очень довольна задержкой. Я смотрел на нее таким взглядом, точно желал, чтобы она подала мне какой-нибудь совет. И тут же у меня возникла мысль передать решение всего этого дела ей,

¹ Ханукальные свечи зажигаются во время еврейского религиозного праздника — хануко.

22

f

моей лошадке, — как она захочет, так пусть и будет. Не смейтесь, не смейтесь, почтеннейшие! Когда вдруг наваливаются сомнения и неизвестно, что предпринять, даже умные люди прибегают к самым странным средствам. Объясните мне, прошу вас, почему при подобных затруднениях хлопают себя по лбу и разглядывают складки на ладони? Какие тайны скрыты в других подобных же способах испытать судьбу, в различных приметах? В таких случаях дураку везет: у него спрашивают и поступают по его совету. На свете очень часто бывает, что умные доверяются глупцам и предоставляют им руководить собой. Я знаю много таких дураков, которые играют значительную роль у крупных дельцов, у порядочных людей... Но не в этом суть.

Хлестнул я лошаденку, отпустил вожжи и дал ей волю везти меня, куда хочет. Лошадка повернула вправо, на дорогу в Глупск. «Что ж, — подумал я, махнув рукой, — веди, веди меня! Быть может, ты и права. Раз тебе нравится Глупск — пусть будет Глупск!»

Назавтра после утренней молитвы я прибыл в Глупск и, по своему обыкновению, подъехал прямо к синагоге. Не успел я оглянуться, а ко мне уже ринулась толпа евреев — пожилых, средних лет, молодых. Меня приветствовали, заглядывали в тележку, шупали товар, засыпали вопросами, как водится у евреев. Сорванцы-мальчишки из талмудторы¹ весьма дружелюбно встретили свою старую знакомую, мою лошаденку, шумно и весело здоровались с ней и уже готовы были рвать из ее хвоста волосы на струны.

¹ Талмудтора — начальная еврейская религиозная школа, которая содержится на средства общины.

23

На синогональном дворе я увидел — люди стоят, сбившись в кучки, о чем-то препираются, рассуждают, отпускают язвительные словечки, охают и покачивают головами. Потом несколько групп слилось в одну большую толпу людей, которые суматошно галдели, махали руками, и тут же их тесный круг лопнул как мыльный пузырь и снова распался на мелкие группки. По видимому, подумал я, что-то случилось, — нет дыма без огня. Меня разобрало сильнейшее любопытство, захотелось узнать, что тут такое творится, — ведь я же еврей, у меня тоже, как говорится, живая душа и ей тоже хочется ко всему прислушаться, принюхаться, как всякой еврейской душе. Ведь это частенько приносит пользу. Немало водится евреев, которые тем и живут, что суют всюду свой нос, всюду принюхиваются и там, где двое, влезают третьим, требуя свою долю, или коммиссионные, как они это называют. Компанейство — дело еврейское... Но не в этом суть.

Когда я прислушался к разговорам вновь сбившейся неподалеку от меня кучки людей, до моих ушей дошло следующее:

— У-ва! У-ва! Благословен судья праведный! Еще почти совсем молодой человек, думается, около сорока, а быть может, что-то поближе к пятидесяти, а? У-ва! Жаль, — такой человек, такой человек!

— Что это вы так огорчаетесь, реб Авромце? Никак не можете, бедняжка, утешиться? По мне — туда ему и дорога! Не такая уж важная персона! Не так ли? Истинно так!

— У тебя, Иосл, никто не персона! Пожалуй, прав все же реб Авромце. У-ва! Такой богатый человек! Жаль, честное слово!

— И нашелся же жалостливый — Лейбце, сын Те-

24

— Вы глупец!.. Все пятьсот тысяч!

— Я глупец, а вы нищий!

— Пощенины захотел?

— А ты две получишь!

Начинается перепалка, потасовка, и люди разбегаются.

— Нет, нет! — орет кто-то во всю глотку в самой середине другой кучки людей, — он ей не пара! Шутите, с такой богатой вдовой? У меня есть для нее другая партия, с божьей помощью сладится. Ей осталось небольшое состояние, закрепленное брачным контрактом: вот мой жених, бог даст, и возьмет ее, вцепится в нее обеими руками.

— И я с вами в компании, Иокл-Грунем! — раздается визгливый голосок, — мне это же пришло в голову! Имею долю в деле. Евреи, будьте свидетелями!

— Провались ты ко всем чертям! — слышится чей-то голос, и кружок людей разлетается, лопнув как мыльный пузырь.

Я выпряг лошадку, поставил ее между оглоблями мордой к тележке, чтобы покормить немного сечкой, а затем принялся за дело — распаковал содержимое тележки. Но едва я навел кой-какой порядок, вывесил с обеих сторон по связке амулетов, шерстяные ермолки, несколько связок цичес¹, нащупал и вытащил вощаной фитиль, талескотон и тому подобное, как вдруг ко мне, запыхавшись, прибежал служка из судилища и выпалил единым духом:

¹ Цичесы — кисти из шерстяных ниток, прикрепленные к краям арбаканфеса (талескотона) — четырехугольного куска материи, надеваемого религиозными евреями под верхнюю одежду.

26

мы! А что их высочество говорили раньше? Что вы там говорили?

— Я говорил?! Где говорил, что говорил, скажите-ка, Иосл, а? Пожалуйста!

— С величайшим удовольствием! Реб Лейбце сам своими святыми губами произнес: «Тот же личность, с позволения сказать — богач Ицик-Авремл! Он был, — да простит он мне, а то пусть и не простит, — грубиян, обманщик, зверь, да к тому еще малость придурковат».

— Иосл! Я это говорил? Тогда мне с вами не о чем разговаривать... До свиданья!

— До свиданья, до свиданья! Пойдемте, реб Авромце, в синагогу, выпьем там у служки по чарочке водки.

— Видишь ли, Иоселе, глоток водки теперь, быть может, и в самом деле был бы кстати, а? Ты, право, очень умно поступил, Иоселе, что хорошенько отчитал этого вралю. Не будем себя обманывать, — в самом деле, что собой представлял этот Ицик-Авром? Он был, мир праху его, невежда, плут, обдирала.

— Вот за это, реб Авромце, я вас так люблю... За то самое, видите ли, что вы всегда любите говорить правду...

— Богатство несметное!.. Деньгам своим счету не знал, мир праху его, — надрываются поодаль евреи, вновь собравшись толпой.

— Во сколько вы его, к примеру, оцениваете?

— В верных полтораста тысяч, думаю.

— Мало... Не ошибетесь, можете добавить еще, еще...

— Так и быть, раз вам так хочется...

— Боюсь — все триста тысяч...

25

— Ой, ради бога, реб Менделел! Шолом-алеихем, реб Менделел! Наш раввин, дай ему бог здоровья, очень просит вас оказать ему честь, — потрудитесь сейчас же прийти к нему. Скорее, скорее же, реб Менделел!

2

В том, что раввин узнал о моем прибытии так скоро, ничего удивительного для меня не было. Ведь Глупск, как известно, еврейский город, а евреи всегда обо всем быстро дознаются. Попробуй человек невзначай проронить какое-нибудь слово, тотчас же об этом узнают на десятой улице: оно разносится из уст в уста куда быстрее, чем по телеграфу. Удивлялся я только одному — зачем понадобился я раввину? Почему он так спешно послал за мной своего служку? И тут же мне пришло на ум: по-видимому, какое-то разбирательство... И не иначе, заковыристое... У меня екнуло сердце! И в самом деле, где вы найдете еврея, в делах которого не нашлось бы такой заковырки, чего-нибудь такого, за что к нему, бедняжке, нельзя было бы придраться?.. Но не в этом суть.

Я перебрал в уме все свои дела, и у меня мелькнуло: мой сват! Уж не подстерегает ли меня сват и не хочет ли принудить отдать роспись приданому под опеку доверенному лицу, чтобы раз и навсегда кончить с этим делом и больше к нему не возвращаться. Мой сват — наивный человечешко! — полагает, будто нужно точно придерживать того, что записано в брачном контракте, будто все, к чему он обязывает, и впрямь должно быть выполнено. Не псчимает он, глупец, что это только проформа, разговор, ведущийся

27

просто так, благородства ради. Надо сделать красивый жест, блеснуть перед людьми щедростью, чтобы дело имело благопристойный вид, как это было в обычае наших отцов и дедов... Но не в этом суть. А быть может, подумал я, это, не дай бог, тот продавец книг! Тот самый продавец книг, с которым мы прошлым летом обменялись лежалым товаром: я ему отдал гагады, изложение правил к пятидесятнице¹, амулеты, новые современные сказки, то, се, всякую дребедень, а он мне в обмен — книги причитаний, молитвы искупления, медные подсвечники, молитвенники на круглый год и другие подобные книги. Удивляться нечему, очень может быть, что он одумался, нашел, что продешевил, и теперь хочет доказать, что ошибся в расчетах, и надеется что-нибудь содрать с меня! Не приведи господи иметь дело с местными продавцами книг. Печенка может лопнуть от их жалоб и претензий!.. Но не в этом суть. Короче, у меня невесело стало на душе. Я — туда-сюда, но идти приходится.

Догадался я прихватить с собой пару вощаных фитилей, новехонький молитвенник для женщин, еще кой-какую мелочь, — быть может, понадобится раввине, а мне это окажется на пользу... Но не в этом суть.

На мою лошадку я вроде досадовал, сердился, что ее понесло в Глупск; не подсыпал ей за это сечки, бросил в морду несколько бранных слов и, предоставив ее вместе с тележкой попечению служки, ушел злой, — пусть глупские озорники сколько их душе угодно обрывают ее хвост на струны. Так ей и надо: сама того хотела. Раз ей мил Глупск — не моя забота, пусть будет Глупск.

¹ Пятидесятница — еврейский религиозный праздник.

тогда, когда у него всего уже по горло, он думает... опять-таки только о себе... Но не в этом суть.

По лицу раввина я сразу же догадался, что он ничего не собирается купить, иначе он не показал бы и виду, что с таким нетерпением ждет меня. Правда, раввин в высшей степени честный, высоко нравственный человек, честное слово! Но на свете ведь не обойтись без обмана. Даже ангелы, посетившие праотца Авраама, были вынуждены вести себя по земным обычаям: как сказано, «и они ели»¹, то есть были вынуждены сделать вид, что едят... Но не в этом суть.

Раввин, пошли ему бог долгой жизни, попросил меня к себе, в свой отдельный покой, и движением руки пригласил сесть. И должно же было оказаться, как это зачастую бывает в доме раввина, что у стула сломана ножка. К тому же я был сильно взволнован и, разумеется, едва в спешке уселся, я тотчас упал. Все тем не менее обошлось благополучно: раввин сделал вид, что ничего не заметил, а я — что ничего не произошло.

Во второй раз я уже усаживался осторожно, не торопясь, оберегая свои кости. Раввин, пошли ему бог долгой жизни, гладил бороду, молча потирал обеими руками лоб, будто напряженно обдумывал что-то. Я никак не мог понять и все больше удивлялся: что же это, в самом деле, означает? Но тут же образумил себя: не будь так любопытен, станешь старше еще на одну минуту и все узнаешь. Так и было: раввин вынул из бокового кармана довольно большой сверток бумаг

¹ Праотец Авраам — библейский мифический персонаж. Согласно легенде, ангелы, посетившие Авраама, чтобы не выдать своего небесного происхождения, вынуждены были сделать вид, что едят.

Едва открыл я дверь и ступил ногой через порог дома, как навстречу мне бросился раввин с криком:

— Ой, реб Менделе! Ой, мир вам, здравствуйте, реб Менделе! Сам господь бог прислал вас сюда, когда вы нам как раз нужны, очень и очень нужны, милейший реб Менделе! Это божий промысел, явное чудо, реб Менделе! Вы поступили как нельзя более умно, что именно сегодня прибыли сюда, реб Менделе!

«Не я, Менделе, поступил как нельзя более умно, а моя лошадка», — усмехнулся я про себя и в душе помирился со своей бедной скотинкой. Ни на какой суд, как видно, меня сюда не вызывали. Тогда — зачем же? Этого я никак не мог понять. Другой нисколько бы не усомнился, что здесь заждались его тележки с товаром; но я не грудной младенец, не птенец, только что вылупившийся из яйца, чтобы уверовать в подобное.

Надо вам знать правило: свет стоит на обмане. Тот, кому нужна какая-нибудь вещь, прикидывается безразличным, словно вещь эта ему вовсе ни к чему, чтобы потом купить ее за полцены. Тот, кому, к примеру, нужен молитвенник, для виду торгует книгу плащей, связку ципес и лишь мимоходом, как бы случайно, берет в руки этот молитвенник, будто без интереса перелистывает и возвращает на место с ужимкой и с улыбочкой: вот если за мелочишку, он, быть может, и купил бы молитвенник. Весь мир — это торжище: все ищут случая урвать что-нибудь друг у друга по дешевке; каждый от души желает ближнему потерять, чтобы самому найти; каждый норовит урвать прежде всего себе, и только после того, как бог помог ему дорваться до удачи и создать свое счастье, только

и, пожав плечами, с самым серьезным видом сказал мне следующее:

— Реб Менделе! Эти бумаги передал мне перед смертью Ицхок-Авром, мир праху его, с просьбой, чтобы я тотчас же, как только он отдаст богу душу, прочитал их перед всеми нашими богачами и выполнил неуклонно, до последней мелочи, все, что в них написано. Выполнение завещания покойного, как вы знаете, богоугодное дело, поэтому я немедля же после его кончины, то есть сегодня же, созвал к себе всех богачей, заправил нашей общины, и прочитал им часть этих бумаг, остальные мы отложили на завтра. Чего же я хочу от вас? От вас, реб Менделе, хочу вот чего: окажите такую честь и потрудитесь прийти ко мне, если будем живы, завтра утром, чтобы присутствовать при чтении бумаг. Зачем? Это вы узнаете, даст бог, после прочтения. Вероятно, так нужно. Завтра вы уже будете знать, что я потревожил вас ради великого дела. А теперь, чтобы вы могли ознакомиться с этим делом от начала до конца, даю вам прочесть — возьмите их с собой — те несколько листов, которые я сегодня уже прочитал нашим богачам.

Вернувшись к синагоге, я увидел — моя бедная голубая лошадка стоит наострив уши и поглядывает в тележку. «Ну, умница моя, говорю, по-приятельски ухватив ее за холку, пошли, говорю, жевать сечку! Пока еще, умница моя, тебе придется довольствоваться сечкой. Завтра, если твоя мудрость, с божьей помощью, подтвердится и я увижу, каков будет итог, увижу в своих руках какой-нибудь грош, — вот тогда ты и получишь у меня полную мерку овса! Ставлю свидетели всю скотину, которая ночует здесь на синагогальном дворе.

На одном из листков, переданных мне раввином, я увидел надпись крупными буквами:

«ИСПОВЕДЬ ИЦХОК-АВРОМА»

Затем шло изложение какой-то истории.

«Я родился,— рассказывал Ицхок-Авром,— в городишке Безлюдове у бедных родителей. Отца я не помню,— он умер, когда я был еще в пеленках. После смерти он оставил миру в наследство хилую жену, немалую ораву детишек и меня в придачу. И все. Живы в памяти события моей жизни; начиная с той поры, когда мне было лет пять-шесть. Насколько помню, меня в юности большим умницей не считали. Когда я, бывало, что-нибудь говорил или делал, все кругом дружно смеялись. Баловать меня не баловали — не целовали, не ласкали, не обнимали, как других детей, и когда я, случалось, плакал, меня унимали, ублажали не лакомствами, не конфетками и игрушками, а оплеухами и тумачами. Я никогда не слышал слова жалости. Я никогда не слышал, к примеру, чтобы кто-нибудь сказал: жаль его, он, бедняжка, ничего не ел; жаль его, личико у него, у бедняжки, отекло; жаль его, бедняжку: заброшенный, он не знает отдыха и горе мыкает; жаль его, бедняжка гол и бос, терпит холод; жаль его, бедняжку: он весь дрожит, до чего худ — кожа да кости. Наоборот, я только и слышал: полюбуйтесь-ка на эту милую физиономию, на эту вздутую рожу, на эти красные, как бураки, ноги; полюбуйтесь-ка на этого обжору, как он истекает слюной; посмотрите-ка на это милое созданище: он уже

32

душа! Человечка нет ни в глазах зверей, ни в глазах скотины, он — только в человеческих глазах».

Этот ответ матери крепко засел в моем мозгу и пробудил множество новых трепетных мыслей. Раз мать говорит, она наверное знает, что говорит, она ведь — мать! Она — большая, пожалуй, в десять раз больше меня, один ее палец толще всей моей руки. Поэтому я сразу воспринял ее слова как нечто общеизвестное, неоспоримое и поверил в это всем сердцем.

С тех пор мое воображение было сильно занято человечком. Ведь это же любопытная, чудесная штука! Даже засыпая, не забывал я о нем. Человечек являлся мне во сне — я держал его в руках, играл с ним, с человечком, а вот я и сам — человечек, скачу в чьих-то глазах подобно человечку! Словом, человечек не выходил у меня из головы. Мне почему-то так хотелось быть человечком! Шутка ли, ведь человечек — душа! И всего-то с блоху; казалось бы, пустяк, а вместе с тем — живой дух, сама жизнь!.. Меня захватила мысль, как бы добраться до этого человечка? И я стал упорно думать об этом.

Однажды меня осенила необычайная догадка. Когда мать, нагнув голову, вытаскивала горшок из печи, я вдруг подбежал к ней сзади, как безумный, — сам не знаю, что со мной тогда стряслось, — и ударил ее изо всех сил кулаком по затылку, в надежде, что человечек хоть на мгновение выпрыгнет у нее из глаз. Можете себе представить, сколько досталось мне пощечин и щипков, не говоря уже о том, что я весь тот день ничего не ел: горшок кулеша мать разбила лбом.

В другой раз меня постигла еще большая неудача. Мне пришла на ум кощунственная мысль — не до-

34

(9)

выкидывает свои штучки — кривляется, дрожит, ляскает зубами... Лишнее существо на свете — ребенок бедняка, каждому мозолит он глаза; втихомолку ему, бедняге, желают умереть во чреве матери, при рождении его встречают как наказание господне; едва он успел разглядеть белый свет, как у него, бедняги, уже полно смертельных врагов, а начав жизнь, он растет как попало, не вызывая жалости к себе даже у своих родителей, разве только когда он заболевает. Лишь тут пробуждается человечность в их сердце, окаменевшем от бед, страданий и горькой нищеты; лишь тут пробуждаются в них чистые родительские чувства: они видят, сколько эта нежная, чистая душа невинно терпела муки, не знала хорошей, светлой минуты, — перед ними встает вся несчастная жизнь их бедного ребенка, рисуется мрачными красками, и сердце кричит, обливается кровавыми слезами. А когда пробуждается окаменевшее сердце, — это я сам в последнее время почувствовал, — оно точно вскрывшаяся река: движутся льдины, воды несутся, кипят, шумят со страшной силой! Именно поэтому бедные люди очень часто оплакивают свое дитя гораздо горестней и трогательней, чем богатые...

Рос я, как шалый конь в степи, — огрубевший, одичалый, имел склонность к дурному озорству, скверным шалостям. У меня была привычка глядеть говорящему в рот, заглядывать ему в глаза. Мать не раз колотила меня за это, была смертным боем. Однажды, когда я был болен и мать ко мне подобрела, я всмотрелся в ее глаза и, видя, что она на этот раз почему-то не бранится, осмелел и спросил: «Скажи мне, мама, что это за человек у тебя в глазах?» Мать улыбнулась и ответила: «Глупенький, человек этот —

3 Менделей Мойшер-Сфорим

33

вольствоваться слепой верой в слова матери, самому проверить: не увижу ли в глазах животных человечка, то есть душу. Подошел я на улице к корове и заглянул ей в глаза, она же боднула меня рогами, — на моей левой щеке остался знак и по сей день. Но все эти удары не выбили, а, наоборот, еще больше вбили мне в голову мысль о человечке.

Учился я в талмудторе. Что такое талмудтора, вы сами прекрасно знаете, и не к чему описывать ее. Это — темница, куда загоняют бедных еврейских детей, отрывая их от жизни, засоряя их мозги всяким вздором. Это — место, где фабрикуют никчемных людей: бездельников, жалких, загнанных, несчастных; это мрачная яма, дыра; обычная в наших городишках запущенная развалина на курьих ножках. Стыд и срам, что она носит такое высокое, святое название — талмудтора. Мне кажется, я не был тупым мальчиком. Примерно к восьми годам я уже учил пятикнижие с толкованиями и комментариями Раши¹, хотя глубокого понимания не обнаруживал. По-видимому, можно много учиться и вместе с тем оставаться большим глупцом, — одно другому не мешает.

Мать называла меня неудачником и была поистине права. В талмудторе я был неудачливей всех детей. Ребе², который отнюдь не заслуживал так называться, питал большое пристрастие к порке, пожалуй еще большее, чем к хмельному. Ему просто доставляло наслаждение ни за что ни про что мучить несчастных, заброшенных детей, на долю которых и без того

¹ Раши — средневековый комментатор библии.

² Ребе — учитель хедера, то есть начальной религиозной школы.

35

выпало достаточно лишений, так что неизвестно было, чем только душа держалась в худом, изможденном тельце. Он осыпал ударами хилые косточки, щипал, истязал худую кожу, и наибольшая доля тумачков доставалась мне, неудачнику. Кончилось тем, что он взъелся на меня после какого-то случая и избил нещадно. Я едва живым выбрался из его рук и был вынужден прекратить посещение талмудторы. Дело было так.

Ребе проходил со мной отдел пятикнижия¹ «В начале». Стих «И рек Ламех женам своим...» изложил он таким образом: Ламех был слепым, и Тувалкаин водил его. Когда однажды вдали появился дед Каин, Тувалкаину показалось, что это зверь (ребе сказал «лиса», чтобы нам легче было уразуметь), и велел он слепому Ламеху прицелиться. Тот прицелился и убил Каина. Когда Ламех узнал, что убил деда, он стал бить одной рукой о другую и нечаянно зашиб своего сына Тувалкаина насмерть. За это от него отделились его жены. И стал он умиротворять их: «И рек Ламех женам своим: Ада и Цилла! Внемлите голосу моему, жены Ламеховы!..»

И случилось, что пришел однажды в талмудтору какой-то человек, бритый, точно немец, кажется из Петербурга. С ним явились все заправилы города проэкзаменовать детей. К несчастью, его выбор пал как раз на меня — он велел перевести это самое место в пятикнижии: «И рек Ламех женам своим!..»

А мне разве доводилось говорить когда-нибудь с таким господином, да еще с бритым? Я дрожал

¹ Отдел пятикнижия — часть библии. Согласно предписаниям еврейской религии, еженедельно по субботам читается определенный, имеющий свое название отдел пятикнижия.

Мать моя жила в великой нужде, иной раз просто на хлеб насущный не хватало. Она вязала чулки, щипала перо, иногда ухаживала за роженицами, под пасху раскатывала мацу, работала, бедняжка, днем и ночью, а от всех ее трудов только на то и хватало, чтобы нам не умереть с голоду. Женские работы не оцениваются на свете по достоинству и очень плохо оплачиваются. Да и что такое женщина вообще? Какое, по правде говоря, значение имеет женщина, если даже она из очень расторопных? От женщины, так уж принято считать в народе, ничего хорошего ждать не приходится: во всех их занятиях нет ничего путного. Что-либо воистину стоящее, такое, что было бы и хорошо и полезно, не под силу женскому уму... Жизнь подвела горестный итог отцовскому наследию: две девочки и мальчик умерли, можно сказать, с голоду, один взрослый парень поплелся куда-то из дому и пропал, по сей день неизвестно, где сгнули его косточки. С матерью осталась хилая, болезненная девушка, в чем только душа держалась, да я, непутевый, камнем висевший на ее шее. Аппетит у меня был, не сглазить бы, грех жаловаться; тех жалких крох еды, что я получал, едва хватало, чтобы заморить червячка. Я все просил: кушать, кушать! Хоть что-нибудь, только бы поесть! Бедная мать страдала и не знала, чем мне помочь. Люди советовали учить меня ремеслу, но она, гордо подняв голову, говорила в сердцах:

— Лучше ему погибнуть, чем идти в мастеровые, — опозорить меня и покойного отца, мир праху его!.. Он, отец его, лишится покоя в могиле, — с какой

как осино́вый лист. У меня шумело в ушах, сильно билось сердце, волосы вставали дыбом, а в глазах то темнело, то плыли светлые круги, точно так, как бывает, когда смотришь на солнце. Я чувствовал, что не в состоянии рассказать эту длинную историю с Ламехом, а тут пристали с ножом к горлу и — в один голос: говори, говори! Что делать? Надо говорить! Когда я заговорил, у меня перехватило дыхание, и, вконец растерявшись, я изложил эту историю в таком, с позволения сказать, переводе: «И рек — лиса... Ламех — слепой... женам своим, — жены от него ушли... Тувалкаин его вел... Ада, Ада и Цилла — и он его убил...» Гость стоял точно ошпаренный кипятком; казалось, он вот-вот лопнет от злости. Подозвав нашего ребе, он сказал сердито: «Что я тут слышу? Как вы изволите обучать своих учеников?! Позор, посмешище! Пусть вам будет стыдно, господин ребе...» Наш ребе чесался, ковырял в носу и еле слышно мямлил: «Дорогой мой господин, ребенок испугался, этот ребенок — хороший мальчик, честное слово!» «Ну, — обратился гость ко мне, — не пугайся, дитя мое, ничего тебе не будет. Скажи мне, что означает «и рек»? Но я уже не знал, что со мной творится. Я стоял вытаращив глаза, как глиняный идол, и выпалил гостю прямо в лицо: «Лиса!.. то есть и рек... он просился к женам...» Мой ребе стоял как на раскаленных угляях, бедняга готов был от стыда провалиться сквозь землю. И досталось же ему, досталось сколько влезло, он надолго запомнил этот злосчастный день. Свою горечь он излил потом на меня. С той поры он всегда ко мне придирался, колодил, избивал до полусмерти. Невмоготу стало выносить все это. Я заболел и перестал посещать талмудтору.

стати сын меламеда¹ Тевла будет ремесленником, станет водиться со всякими мастеровыми! И слушать больно! Вовек бы врагам моим, боже милостивый, до эакого не дожить!

В конце концов бог помог матери, и она отдала меня в галантерейную лавку. Она была счастливейшим человеком: считала, что сын ее — уже купец.

Но сын ее стал просто-напросто собакой! Сейчас я вам это растолкую.

Моя должность требовала, чтобы я с громким криком хватал каждого прохожего и тащил в лавку. Едва показывался кто-нибудь на улице, меня, как собаку, натравливали на него, я выбегал и кричал не переставая: «Сюда, пане! Тканые платки, льняное полотно, подтяжки, ножики, американские галоши, бамбуковые трости, миндальное мыло, помада!» И тому подобное. Вначале мне все это было как-то не по нутру, — разве можно вдруг выскочить с криком на улицу, преградить прохожему дорогу? Ведь это же невероятно дико! Я немного плутовал, сокращал мой «номер», чем вызывал гнев хозяина и хозяйки, которые обрушивались на меня с бранью, смешивали с грязью, попрекали, что даром ем их хлеб, хоть я, бедняга, трудился через силу, выполнял любые работы и в лавке и дома. К тому же я еще прислуживал старшим приказчикам, беспрекословно повиновался им, был готов броситься в огонь и в воду, выполняя их поручения, гнул перед ними в три дуги и бывал доволен, когда они не причиняли мне зла, когда мне удавалось невредимым выскользнуть из их рук. Ну, а что говорить, если приказчик из соседней лавки отбивал у

¹ Меламед — то же, что и ребе.

меня покупателя! Тут-то и доставалось мне,— хоть с жизнью прощайся. Все в нашей лавке набрасывались на меня — кто языком, а кто пятерней,— всыпали сколько влезет. Моей матери и отцу, меламену реб Тевлу, мир праху его, тогда тоже основателью доставалось, их, упаси бог, не забывали. Поминал и мать, и отца, и всех предков вплоть до праотца Авраама! О еде в такой злополучный день уже и речи не могло быть: у меня и крошки во рту не бывало. Мне, правда, дозволялось грызть камни, давиться хворобой, но так как камни и хвороба — для человеческого желудка неудобоваримые яства, я в этот день просто голодал. И такие дни выпадали на мою долю несколько раз в неделю. Увидев, что дело мое плохо, я принялся за свою работу с всем рвением. Стоило вдали показаться кому-нибудь, в ком можно было заподозрить покупателя, я срывался, как собака с цепи, бросался на него, преграждал ему дорогу, оглушал криком, сбивал с ног перечнем товаров, ташил за полы. Правда, иногда я получал затрещину или плевков в лицо, но как ни в чем не бывало продолжал свое дело. Со временем я со всем этим так свыкся, что звать для меня стало наслаждением, радостью. Мне доставляло большое удовольствие вцепиться в какого-нибудь барина, заморочить ему голову и, выкрикивая перечень товаров, называть и такое: «Может, пане, парижские напасти на твою голову?! Помада, струпя, язвы вам, пане!»

Эти мои уличные торговые упражнения зачастую приводили к столкновениям с приказчиками других магазинов, которые тоже охотились за покупателями и тоже кричали. Мы грызлись на улице точно так же, как наши хозяева грызлись между собою в лавках из-за выручки, с той только разницей, что у них, у хо-

40

желание. Но когда я взял пуговицу и положил в карман, старший приказчик, наблюдавший за мной издали, тотчас подбежал ко мне с криком: «Так, так! Паскуда, ворюга, кладешь в карман! Видите, хозяйка, те вещи, что тогда пропали, тоже его работа!» Это он, по-видимому, сваливал на меня свои собственные грехи. Теперь, как сквозь сон, припоминаю — он иногда подсовывал служанке кой-какие мелочи... Короче, мне учинили свирепую расправу, немилосердно избили и выгнали вон.

5

В добрый, счастливый час я снова вернулся домой, к матери! Я не случайно говорю «в счастливый час», — как раз в ту пору мать раскатывала мацу¹ в какой-то пекарне, и благодаря своему доброму имени ей удалось добиться для меня должности подливальщика, то есть я должен был из пасхальной кружки подливать воду месильщице, и эта моя работа мне тогда представлялась не менее важной, чем высокая должность старшего царского виночерпия. Поэтому я возгордился в сердце своем и стал относиться к себе с каким-то уважением, как к человеку, без которого не обойтись, в чьей помощи есть острая надобность. На первых порах мне трудновато было точно угадать положенную меру воды, и несколько замесов было из-за меня переведено в хомец, за что я получил внушительную

¹ Маца — пресные коржи, употребляющиеся религиозными евреями в пасхальную неделю вместо хлеба. В эти дни квашеный хлеб (хомец) не употребляется.

42

язев, трещали костяшки счетов и спускались цены на товары, а у нас, приказчиков, трещали кости и отпущались звонкие пощечины. А так как я был самый маленький, самый слабый среди них, то почиталось благодеянием, чтобы все наиболее звонкие затрешины и самые горячие, пламенные оплеухи, по всем законам человечности, доставались одному мне. Но дары эти впрок не пошли, и от подобных благодеяний по всем законам человечности я потерял облик человеческий. Тем более, что для подобной торговли нет особой нужды иметь облик человеческий, можно и без него быть «человеком», то есть лакеем. Но силой и здоровьем надо было все же обладать. А я стал просто-напросто тень тенью, то есть остался без сил, без здоровья, еле держался на ногах. Шутка ли, что я, бедняга, перетерпел! В доме я обязан был помогать по хозяйству, в лавке я должен был убирать, подметать, каждого обслужить, каждого убаготворить, а сыт бывал одними огорчениями, тумак получал и от чужих и от своих. Больше всех изводил меня старший приказчик лавки. Ему почему-то не нравилось, что я ночую на кухне, куда он нередко забегал втихомолку, и он придирался ко мне, искал предлога, чтобы услатить меня оттуда и вообще избавиться от меня. Я был у него бельмом на глазу. Но я все это перетерпел бы, не случись истории с пуговицей.

Однажды заметил я в лавке валявшуюся на полу перламутровую пуговицу, — она сверкала, переливалась всеми красками и блестела так, что возбудила во мне сильнейший соблазн. Я вспомнил большую сестру: «Подарю ей эту пуговицу, она в субботний или праздничный день украсит ею свое платье и будет щеголять перед подругами». Эта мысль укрепила мое

41

головомойку; но потом дело пошло как по маслу. Я считал себя единственным в мире подливальщиком, лучше которого не найти даже в Париже. Среди перебывавших у пекаря заказчиков мацы оказался и меламед. Очень довольный моей работой, тем, как я усердно подливаю воду, он поощрительно ущипнул меня в щечку. Мать моя с этим меламедом о чем-то долго говорила, потом подозвала меня и сказала: «Видишь, Ицхок-Авромце, реб Азриел берет тебя к себе в хедер помощником!» При этом она обратилась к меламеду: «Я только удивляюсь, реб Азриел, как это до сих пор мне в голову не пришло! Его отец, светлой памяти, был, как вы знаете, меламед, пусть сын, да продлятся годы его, тоже будет меламедом, дай вам бог здоровья. Опять же голова у меня, не про вас будь сказано, не про добрых людей будь сказано, заморочена, врагам моим того пожелаю. Вы же моего, дошли вам бог долгие годы, знали. Опять же, быть может, так уж предначертано свыше, чтобы сыну остаться при том же. Раз всевышнему любо, любо и мне. Пусть уж мой сын будет меламедом, — не было бы хуже».

Но все вышло не так, как говорила мать. Я оказался не при меламеде, а при детской колыбельке, при козе и при иных подобных занятиях! Жена меламеда реб Азриела прибрала меня к рукам, без устали помыкала мной и потчевала самыми различными работами. Я был у нее затычкой, пробкой, которой она затыкала все дыры. Так же как благочестивый еврей должен молиться, я должен был каждое утро отвести козу в стадо; редко-редко вел ее, козу, за рога сам реб Азриел своей собственной персоной, а я сзади подгонял сзади. Управившись с козой,

43

я принимался за другие работы — приносил дрова, собирал во дворе среди мусора щепки, выносил помои, подметал дом и укачивал на руках ребенка в мокрой задранный рубашонке; ребенок орал, тянулся к материнской груди, бил ручками и ножками, закатывался, хрипел и, извините, свистел носом. Я был обязан унимать его, придумывать забавы, дуть в кулак, как в рожок, шелкать языком, рассказывать «сороку-ворону», петь «пи-пи-пи», «Козу-егозу» и другие детские песенки. И боже тебя упаси прервать все это хоть на миг! Жена меламеда раскрывала пасть и обдавала меня потоком ругани, замахивалась кочергой, грозя разmozжить мне голову.

Благополучно покончив со всеми этими работами, я спешил собирать детей в хедер. И тут начиналась совершенно новая глава — я выполнял тысячи обязанностей помощника меламеда: чистил сапожки, ботиночки, вытаскивал из мокрых постелей обмочившихся мальчишек, переодевал их в сухую одежку, застегивал штанишки, сдувал перья с ермолок, утирал носы, насильно таскил детей из дому и выталкивал на улицу... Так шел я из дома в дом, пока не собирал всю команду. Потом начинался невиданно дикий марш, которым стоило полюбоваться. Впереди и позади меня бежали, прыгали, ползли мальчуганы «в полной форме», с торчащими из штанишек рубашенками. Один брел с грустно опущенной головой, словно на закланье, другой жевал кусок хлеба с яйцом, третий кричал «кукареку!», четвертый — «козочка ме-ме-ме!» Я бодро шагал посередине, карманы у меня были битком набиты снедью, за пазухой — всякая всячина, а в корзине, висевшей у меня на руке, были лепешки с маслом, хлеб со смальцем, ломти хлеба с хвостом селед-

44

распутывал моток ниток, бегал разыскивать кур, кричал «киш, киш!», сгонял то с крыши, то с чердака петуха с его оравой жен-квохтук. Через несколько часов я впрягался в новое дело — приносил мальчишкам обеды в хедер. Так я и мотался, суетился до вечера.

Вечером приходило время отвести всю ватагу детей по домам. Моя «святая отара» резво бежала, прыгала, — этот с подбитым глазом, тот с синяком на щеке, у одного багровело ухо, у другого был выдран клочок волос из пейса. Но на радостях никто этому не придавал значения; все шалили, торопились, мчались шумно и весело. В это же время с поля возвращалось и стадо коров с резвыми козами впереди. Я отпускал мою «святую отару» и спешил с должными почестями встретить козу меламеда реб Азриела, хватал ее за рога и отводил на покой, удерживая ее от постыдного греха — заскочить в чужой огород — и избавляя себя от лишних забот и хлопот по розыску беглянки, затягивавшемуся иногда до поздней ночи.

Что до моего пропитания, уговор был таков: столотаться буду у родителей учеников реб Азриела: неделю у одного, две недели — у другого, а где окажется возможным — и месяц. На самом же деле я кормился не у них. У кого же? У их кухарок, которые были не очень склонны выполнять обязательства реб Азриела и нередко оставляли меня голодным. Что же до меня, хотя моим контрактом и не предусматривалось, что я должен работать у кухарок, я не мог тем не менее быть настолько грубым и отказаться, когда мне предлагали какое-нибудь занятие. Я натирал хрен, точил ножи, до блеска начищал медные субботные подсвечники, носил кур к резнику, по поручению служанок

46



ки, горшочки каши, творог, простокваша, лук, чеснок и прочая зелень, а с обеих сторон за мною шли по полдюжине мальчишек. Одни мальчишки, всхлипывая, терли носы, другие упирались и не хотели идти, третьи плакали, оборачивались и громко на всю улицу кричали: «Мама! мама!..»

В хедере ребе со старшим помощником встречали весь этот этап маленьких арестантов и принимались за порку. Я должен был подавать розги и держать ребят за ножки. Расстегивал штанишки и клал детей на скамейку сам ребе собственной персоной. Когда дети после порки бросались во двор, чтобы поиграть среди куч мусора, я отдыхал, — укачивал ребенка, nasledничка реб Азриела, и напевал ему при этом песенку «У колыбельки Ханочки стоит козочка-беляночка»,

45



бегал в лавку за перцем, имбирем и корицей для субботного пудинга и выполнял еще множество подобных дел по хозяйству.

Близилось девятое аба! Я всю готовился, вытесал деревянные мечи для моих мальчишек,

Девятое аба — день поста в память разрушения иерусалимского храма.

47

покрасил их, мечи, значит, соком черных ягод, покрасил и в иные способные насмерть перепугать цвета и надеялся зашибить немалую деньгу. Но внезапно на меня надвинулась туча, и рухнули все мои надежды. В ту пору реб Азриела дернула нелегкая избить до полусмерти наследничка какого-то богача, единственного сына, над которым родители тряслись. Мальчишка не выдержал побоев и слег. Мать и отец возмутились, шумели и грозились хорошенько проучить реб Азриела, отобрать у него хедер. Реб Азриел страшно перепугался и, чтобы обелить себя, свалил всю вину на меня. Это, говорил он, дело помощника. Он, говорил реб Азриел про меня, большой пакостник, невиданная мерзость! Мальчик же, со своей стороны, молчал, как водится: боялся разгласить секреты хедера. Сошлись на том, что виноват я. Обе стороны решили хорошенько меня отхлестать и выгнать вон из хедера. Я, злосчастный, оказался козлом отпущения и был безжалостно принесен в жертву!

6

— Так вот! — говорила моя мать, обращаясь к какой-то женщине и глядя при этом на меня. — Опять же, как говорится, Эстер, человек полагает, а бог располагает. Я, со своей стороны, чиста, пошла вам бог здоровья, разбилась, как говорится, в лепешку, только бы не опозорить покойного мужа, но все идет кувырком, хоть разорвись. Полюбуйтесь-ка на него, Эстер, я уже пристраивала его в разных местах. Он мог бы стать там человеком, человеком что надо, и бог и люди позавидовали бы мне. Но хоть разорвись,

48

Лейзер был доволен собой и считал себя лучшим портным если не во всем мире, то по крайней мере в Безлюдове, потому что не подозревал о своих недостатках. Когда ему, бывало, показывали какое-нибудь прекрасное изделие, привезенное из дальних мест, из Берлина к примеру, он даже не хотел оказать этому изделию честь, толком разглядеть его, присмотреться к тому, как оно скроено, как сшито.

— Пустое! — улыбался он и делал небрежную гримасу, чтобы сбить с собеседника спесь. — Пустое, что тут особенно мудрого? Что вы тут такого нашли, чем любоваться? Такие вещи я в своей жизни уже тысячи раз делал-переделал. Ко всему на свете еще необходимо счастье, — раз это сделано в Берлине, хехе, считается, что это хорошо.

Язычок у Лейзера был проворный, острый. Когда кто-нибудь пытался показать ему, каким он желает видеть свой заказ, Лейзер не давал тому договорить, перебивал и говорил сам:

— Я знаю, я знаю-знаю-знаю! Будьте уверены, я с божьей помощью сошью вам эту вещичку гораздо лучше, чем вы сами того желаете. Впервые мне такое шить, что ли? Знаю, не сомневайтесь, довольны будете.

Когда он относил работу, и заказчик говорил: здесь жмет, там топорщится, тут не облегает, в этом месте тесно, — Лейзер не хотел слушать, говорил без удержу, засыпал того словами:

— Боже упаси, как вы можете такое говорить? Не жмет! Не должно жать! Ничего похожего на то, чтобы топорщилось. Немножко только потяните, будьте любезны, туда. Сидит прекрасно, — ни морщинки. Вот еще новости — узко! Как так узко? Не должно быть узко! Вы только что поели и немного раздались

50

Эстер, хоть отдай себя на заклятие, хоть умри тут на месте, все идет через пень-колоду, про врагов наших будь сказано, все получается шиворот-навыворот! Опять же, как говорится, если злая судьба привязалась к человеку, ему от нее не отвязаться. Если невозможно напрямик, как говорится, приходится — в обход... «Як нема риби, то і рак риба», — говорят мужики. Вы же человек с понятием, Эстер, так вот! — раз к ремесленнику, пусть к ремесленнику. По-видимому, суждено свыше, чтобы сын меламеда Тевла стал ремесленником, горе, горе мне! Опять же, чего мы стоим сами и чего стоит наша жизнь — поди и спроси господ бога!

Через несколько дней я поступил в учение к портному Лейзеру.

Портной Лейзер был маленький, тщедушный человечка с бледным личиком, очень проворный, подвижный, как ртуть, со всеми портняжскими повадками, с головы до ног вылитый портняжка. Его можно было считать и дамским и мужским портным, или, что еще вернее, ни дамским, ни мужским, потому что он брался шить и женскую и мужскую одежду, все на свете, а при случае — даже фуражку, и ничего толком сшить не умел. В его руках салон оборачивался домашним халатом, домашний халат превращался в кафтан, кафтан — в платье, а платье — в детскую нижнюю сорочку. К тому же он был ловкач. У него всегда уходило материала ровно столько; сколько он считал нужным, и, сверх того, ему перепал немалый остаток. Под осень, в то самое время, когда в еврейских семьях затевают перелицовку одежды или превращение одной одежки в другую, он бывал завален работой.

Менделе Мойхер-Сфорим

49

вширь, вот вам и кажется, что узко. Потратить мне на лекарства то, что мне от этого перепало, — едва хватило материала, честное слово! Израсходовано все до последней кусочка. От подкладки осталась маленькая полоска перкаля, я и принес ее. Лучше, чем я сделал, сделать невозможно! Пообнесите — попривыкнете. Носите на здоровье!

При расчете начинались препирательства. Он говорил битый час, божился, всю хвалил свою работу, перечислял, во что ему обошлась каждая мелочь в отдельности, производил хитрый портняжный расчет и за глаза приводил в свидетели лавочника, перекупщика и лоточницу, просто-напросто обрушивал на заказчика поток слов, пока тот не добавлял ему еще десять грошей. «А теперь, — говорил он напоследок, — поднесите хоть глоток водки...» Глотком водки у Лейзера начинались и завершались все дела. Он не был, упаси бог, пьяницей, не валялся на улицах. Но пить он умел. Ремесло обожает питье — было его излюбленной разговоркой. И он от души любил выпить. Благодаря этому он играл заметную роль в цеху, был на короткой ноге с цехмейстером, весьма деятельно проявлял себя при выборах, — ведь все это обычно не обходилось без выпивки. Не сомневайтесь, душа Лейзера чувствовала, где можно разжиться на рюмку-другую водки. Но чтобы он за рюмку продал себя, свой разум, перестал чувствовать, понимать, что хорошо и что плохо, — изваби боже, этого сказать нельзя! Он себя в рюмке не утопил, всегда оставался при своем уме и, как все другие, очень хорошо знал правду, в рюмке же он утопил только свой баллотировочный шар...

Портной Лейзер, едва я поступил к нему, сразу же начал меня в оборот и начал штудировать со мной

51

азбуку ремесла. Азбука эта состояла не в том, как надо держать иглу, как надо сделать стежок, — нет! Это было слишком рано, такой чести мне еще долго не оказывали. Лейзер начал со мной с самого начала — с помойного ушата, с охапки дров и иных подобных вещей. Почти та же самая азбука, что в лавке, что у меламеда Азриела, только с теми небольшими изменениями, которые были связаны с портняжным делом. Тут надо было, к примеру, сходить на рынок за нитками; ставить греть в печь утюжки, иногда дома у самого Лейзера, а иногда у кого-нибудь из соседей; раз десять в день искать под столом, под стульями наперсток или тоненькую иголку; выдергивать наметку и, сопровождая хозяина к заказчику, нести готовое изделие. А так как у Лейзера была жена, деловитая хозяйка, расторопная женщина, то и она уделяла мне много внимания, всегда находила для меня работу и ни минуты не давала мне, сохрани господь, сидеть без дела. В ту пору моя мать еще могла не стыдиться моего ремесла, а мой отец меламед реб Тевл мог пока спокойно лежать в могиле: сын не опозорил их, — он был еще очень далек от работы иглой. Что же касается колотушек, то по этому поводу особенных споров не было. Иногда колотил меня Лейзер, иногда — жена Лейзера, иногда — оба разом или же на иной манер, к примеру так: вначале Лейзер отвечивал несколько увесистых затрецин Лейзерихе, а Лейзериха мне честно передавала их с процентами, сдобрив свое подношение несколькими добротными щипками, или наоборот, — Лейзериха вдруг первая собственными руками надавала пощечин Лейзеру, а Лейзер никак не мог удержаться, чтобы все это тотчас же не отдать мне... Лейзер со своей женой жили

заднюю часть платья, как некую драгоценность, как сокровище. Портной фальцетом затынул напев молитвы «Кол-нидрей», потом запел «Владыка небесный», затем перешел на какой-то марш. Покачивая головенкой и пришепывая в такт губами, он подтрунивал надо мной и над изможденным парнем, высывая при этом язык, затем он надрывно, со слезами в голосе, распевал свадебные песни, изображая провожание невесты, сыпал, как скоморох, рифмами. «Живо, Ицик-Авремл! — говорил он в то же время нараспев. — Сними нагар со свечи, шельмец! Шагай веселее, вздутая рожа! Пошевеливайся, Ицик-Авремл, быстрее шагай, не вздумай дремать у меня, негодяй!» А я — стежок за стежком, иглой — то по платью, то по пальцу, куда попало. Но разве почувствуешь укол иглы, когда на душе весело?..

И вдруг на меня надвинулась туча: в доме запахло паленым. Искали тут, искали там и нашли наконец, что это у меня, несчастного, тлеет та самая задняя часть платья, которую я обметывал! Когда я обрезал свечу, кусочек нагара упал на ткань! Поднялся вопль, крик, галдеж. Посщечины, зуботычины и удары посыпались на меня градом! Влетело мне как следует. Портной пытался превратить заднюю часть платья в переднюю, сделать из нее рукав, — ничего не вышло! Он уже, бедняга, вынул из сундука кусок материала, который выгадал при кройке, но — мучайся хоть целый год — ничего не получалось! Хоть разорвись! Хоть собою дыру залатай, толку нет! Задний крой должен остаться задним кроем, из свиного хвостика не сделаешь ермолки.

— Выслушай-ка меня, Ицик-Авремл! — сказал Лейзер. — Выслушай, негодяй, паршивец ты этакий,

точно голуби, во всем равноправны: каждый чувствовал себя главой семьи, оба решали все дела на равных правах, оба боялись один другого, обнимались, ласкались, делились самым прекрасным и лучшим — пощечинами...

У портного Лейзера мне жилось несладко. Я работал как вол, а со всех сторон на меня сыпались удары. Я тогда полагал, что в учении ремеслу все это совершенно необходимо, и без этого, то есть без помойных ушатов, без зуботычин, без горячих, пламенных оплеух я, упаси бог, никогда не овладею ремеслом, точно так же как без этого невозможно стать докой в талмуде¹. Примером служил мне подмастерье Лейзера. Худой, сгорбленный, изможденный парень, который провел свои лучшие молодые годы у Лейзера, делал всю черную работу, претерпел тысячи испытаний, пока не достиг такой ступени, когда ему доверили взять в руки иглу — стегать! Поэтому я, злополучный, принимал с любовью все затрецины и даже не слишком громко плакал.

Однажды под пасху ко мне обратился хозяин:

— Ицик-Авремл, сбегай-ка в лавку, там возьми, взяла бы тебя лихоманка, на грош ниток и обметай, метаться бы тебе всю жизнь, это платье, сначала спереди, а потом сзади. Живо, шельмец!

Помню, как сильно обрадовался я тогда оказанной мне чести — с иголкой в руках сидеть за столом, будто меня удостоили на свадьбе держать палки свадебного балдахина. Айда! Я уселся за стол напротив бледного парня, радостный, веселый, и обеими руками держал

¹ Талмуд — многотомный памятник еврейской религиозной литературы, сложившейся с III века до нашей эры по V век нашей эры.

сгнуть бы твоим костям! Бить тебя больше нет сил... Когда хозяйка вернется с базара, она тебя, вероятно, тоже обогреет, пересчитает все твои косточки. Она имеет точно такое же право, как и я, и она своего не упустит. Но все это ничто, все это дерьмо по сравнению с тем, что тебе достанется позднее, если мне не удастся моя уловка.

Портной Лейзер тут же задумался над пострадавшим платьем и заговорил сам с собой: «А почему бы так не карман?.. Из дырки — да карман!.. Но вдруг, если... Э, ладно, что уж тут терять?..» Потом он уставился на меня и крикнул:

— Пошел вон, паршивец! Псам бы с тобою водиться!

Я выскользнул из-за стола, точно кошка, и с замешанным сердцем стал дожидаться печального конца.

Эта грустная история произошла в среду под вечер. В пятницу, помню, как сегодня, хозяин велел мне нести за ним пострадавшее платье к жене арендатора. Арендаторша как глянула — светопреставление: на самом задку карман!

— Что это такое, милейший мой портной? — распрыскалась она. — С какой стати — вот это? Что это?

— Убей меня бог, такое платье ни за что не приму!

— Э, — ответил мой Лейзер со сладеньким смешком — не дал ей дальше говорить, — не кричите, право же, Брайндл! Помогите мне бог так прекрасно жить, как я вам все прекрасно сделал! Я сшил вам платье по самой последней моде. Не спорьте, у всех барынь теперь разрезные карманы сзади. Только сумасшедшие делают теперь карманы спереди! Не избавьтесь мне, господа, от моего ремесла и оставайтесь навеки портным! Это была его обычная клятва, как и у всех евреев-

ремесленников), если это платье не выглядит великолепно! Жаль, право, что вы собственными глазами не можете полюбоваться на всю его прелесть. Право же, перестаньте ощупывать, Брайндл, все хорошо! Пользуйтесь на здоровье, носите на здоровье и порви-те поздраву! Только дайте что-нибудь моему ученику, он заслужил, право. Бедняжка немало натрудил свои глаза, пока управился с вашим карманом. А мне при-читается рюмка, право!

Лейзер считался в Безлюдове одним из лучших портных, из тех, что шьют по журналам, а арендатор был одним из крупнейших богачей, и когда увидели его жену, арендаторшу, в платье с карманом сзади, все безлюдовские модницы стали носить платья с раз-резными карманами сзади. Но хотя мой карман и во-шел в моду, мне он удачи не принес. Лейзер боялся, как бы я опять не натворил каких-нибудь новых мод, от которых у него начались бы, не дай бог, колики. Из страха он не давал мне больше прикоснуться к ра-боте и передал меня в полное владение своей жене, се-бе оставив только право вклепить мне время от времени оплеуху. «На что мне сдаться,— заявил он,— этот без-надежный сопляк, этот никчемный фокусник?» При этом он добавлял свое обычное изречение: «Ай-ли-лю-ли — аллилуйя,— «да восславит его войско его»,— псам бы с тобою водиться!..» Затем я причинил ущерб и Лейзерихе — нечаянно разбил горшок с яйцами и был вынужден в конце концов покинуть их.

Потом меня отдавали к разным ремесленникам, что ни неделя — к другому. Но мне, злосчастному, ни-где удачи не было. Каждый ремесленник на первых порах знакомил меня со своим хозяйством и сваливал на мои плечи все его тяготы. Был среди других моих

божные спозаранку управлялись с утренней молитвой, а потом шли слушать кантора. Теснота была страш-ная, яблоку упасть негде было,—толкались, напирали друг на друга. Втиснулся в синагогу и я, чтобы послу-шать кантора. Как и все евреи, я очень любил пение.

Был у кантора маленький певчий, моих лет, голо-сок что колокольчик. Когда он стоял у аналоя и, под-перев рукой щечку, «тралялякал», я ему так завидо-вал, что готов был отдать с себя последнюю рубашку, только бы стать, как и он, певчим. Когда мы, мальчиш-ки, вышли в сени на время чтения торы¹, я глядел на этого маленького хориста с великим благоговением. Я перед ним полностью пасовал. Мне казалось, что нет на свете профессии лучше певчего. Куда мне до него! Едва этот маленький певчий открывал уста, я неотрыв-но смотрел ему в рот и, если бы мог как есть вско-чить туда, то сделал бы это с величайшей радостью и испытал бы невыразимое наслаждение.

Дома по возвращении из синагоги я все пытался подражать маленькому певчему. А после обеда разошелся вовсю и в полный голос распевал песни, чем доставил матери огромное удовольствие. Но теперь я, увлеченный песнопениями, уже не старался подра-жать маленькому певчему, мне вообще почему-то пелось, я ни на миг не мог умолкнуть. Уже давным-давно пообедали, а я все еще пел, выводил всевоз-можные канонические мелодии. Мое пение в конце концов перешло в озорство, я надрывно орал на раз-ные неслышанно дикие голоса. Мама, увидев, что я никак не уговорюсь, не даю ей отдохнуть после обеда,

¹ Тора — пятикнижие, первый раздел библии.

хозяев один сапожник, неунывающий бедняк; он все посылал меня в грязные закоулки — дергать у свиной щетину из хребта. «Глупенький,— такова была его всегдашняя поговорка,— с поганой свиньи хоть ще-тину драть, драть со свиньи — сам бог велел». Когда я ташил ушат с помоями, этот веселый бедняк вста-вал и шутя провозглашал нараспев:

— Воздайте почести Ицику! Неси, неси, милый Иценю-Авремению, дай мне бог дожить и тащить на твою свадьбу вино в решете! Тащи, милый Иценю, тащи, в твои годы я достаточно помойных ушатов по-перетаскал!..

Этого самого сапожника я в душе любил: он об-ходился со мной лучше всех других. У него я бы удер-жался и даже, быть может, чему-нибудь научился, но он серьезно заболел, стал все сильнее кашлять, хар-кать кровью,— бедняга всю жизнь мучился, горе мыкал, работал через силу, чтобы прокормить жену и детей, а сам он бывал сыт одними страданиями. Кро-ме черствого сухого ломтя хлеба, он ничего в глаза не видал. Вкус мяса был им давно забыт, и при разговоре он иногда шутил: «Мясо — это не еврейская еда. Од-ному мне, сумасшедшему, в субботу могли помере-щиться потроха в горшке!..» Беднягу на тележке от-везли в дом призрения, и там он вскоре умер.

7

И был день — в Безлюдов прибыл странствующий кантор¹ и в субботу пел с хором в нашей синагоге. Народ из всех молелен бежал его слушать. Самые на-

¹ Кантор — человек, читающий нараспев молитвы у аналоя во время синагогальной литургии.

хорошенько отшлепала меня и выгнала вон из дому. А куда бежать мальчику в субботу днем? Конечно, в синагогу. Ге-ге! Там я застал всю шатию самых отъявленных сорванцов: Я-то думал, что был единст-венным подражателем маленькому певцу. Нет! Все остальные делали то же, что я. Каждый в отдельности был занят делом: один пищал, другой рычал, третий гудел басом, кто пел фальцетом, кто дико кривлялся, драл горло, ржал, заливался дребезжащим голо-сом, выводил рулады, как флейтист. Потом вся орава дружно принялась исполнять на хорах в жен-ской молельне жалобные молитвы, подражая кан-тору.

Мы мяукали, пищали, свистели, галдели, кричали до тех пор, покада служба не окатил нас водой и не выгнал с позором.

У меня, надо вам знать, и впрямь был красивый тонкий голосок, словно звоночек. Я иногда подпевал портному Лейзеру, когда тот исполнял провожание невесты или пел «Царь небесный». Лейзер при этом смотрел на меня с улыбкой и говорил тоном человека, испытывающего большое удовольствие: «Хорошо, паршивец ты этакий! Так, так, черт бы тебя побрал, шельмец!..» И мне пришло в голову попросить маму отдать меня в учение к кантору. Я впился в нее, как пиявка, не отставал до тех пор, пока не вынудил ее повести меня к нему. Да и она, бедная, измученная вдова, уже была рада избавиться от такого сокро-вища, как я. Когда кантор велел мне издать высокий, тонкий звук и затем сказал, что берет меня в певчие, мне на радостях показалось, что я завоевал весь мир. Невозможно описать, каково было у меня тогда в душе. По-видимому, очень рада была и мать,

так рада, что большей радости и не бывает,— я сам слышал, как в разговоре со своей знакомой она сказала:

— Опять же, Эстер, да продлит господь бог ваши годы, как может человек устроить судьбу другого? Расшиби себе голову, разорвись, из кожи лезь вон, Эстер, ничего не сделаешь. Как говорится, Эстер, когда всевышний возвышает человека, никто не знает, откуда это на него свалилось. Говорю это... по поводу моего сироты говорю. Опять же, Эстер, люди советовали пристроить его к ремеслу; так и быть, ремесло так ремесло. Но что из него вышло бы? И вот всевышний являет свою милость и доказывает, что все не так, как люди говорят, нет! И вот, Эстер, бог присылает кантора!.. Благословен и славен, Эстер, господь бог, мой сирота уже пристроен, он уже человек, про всех моих близких будь сказано! Я у бога совсем не заслужила такого. Тут уж совершенно явственно воздается ему за заслуги предков.

С кантором я больше полугода странствовал по белу свету. Мне, злосчастному, и у него плохо было, хуже, чем всем остальным певчим. Не сомневайтесь, я дорого расплачивался за пребывание в хоре. Заведено у нас было так: пока кантор пел, хористы должны были поглядывать на публику, наблюдать, нравятся ли его пение, прислушаться, что говорят о его голосе, о том, как он управляется с текстом. Уже дома, когда кантор хотел кого-нибудь из нас окликнуть по имени, как-то по-особому подмигивая, что означало: «А ну, скажи-ка, остались довольны мной?» — почти всегда его выбор, как назло, падал на меня. Это, быть может, случалось потому, что остальные певчие сразу же после молитвы разбежались, бесследно испа-

60

вы молились. Он, кажется, сказал что-то вроде: «Кочан! А я почем знаю, что такое кочан, семена индючьи или масло утиное?..» Кантор закусил губу, притворно засмеялся и сказал собравшимся, что я придурковатый, недоумок, не знаю, на каком я свете, к тому еще нализался, что с такой напастью, как я, он вынужден мириться ради моего голосочка. Собравшимся стало не по себе, проводы царицы-субботы не клеились, и люди, расхоложенные, понемногу разошлись. Можете вообразить себе, как мне потом досталось. Кантор так расправился со мной, что выпитый пунш мне вышел боком.

Я продолжал разъезжать с кантором. Мы таскались по еврейским местечкам и в одну из суббот приехали в Цвюячиц. Кантор надеялся остаться здесь на длительный срок. Он старался изо всех сил, усердствовал сверх всякой меры, и старосты синагоги предложили ему остаться на все «Емим-нороим»¹, обещали срядиться после праздников — там, мол, бог даст, окончательно договорятся. Я тем временем познакомился с цвюячицкими сорванцами и добился, благодарение господу, у этих озорников некоторого авторитета. Когда, к примеру, с криком «ура» бежали за местным сумасшедшим, мне давали бежать впереди всех, когда нужно было над кем-нибудь подшутить, то клочок ваты для пыжа выдирали из моего кафтана, а когда однажды удалось выкрасть из шкафчика служки труб-

¹ Е м и м - н о р о и м — еврейские религиозные праздники Новый год и Судный день. По представлению верующих, бог в эти праздники определяет судьбы людей на наступающий год. Набожные евреи в эти дни усиленно молятся и постятся, чтобы покаянием и смиренном умолившись бога и заставить его предначертать им год добра и счастья.

62

рялись. Едва он произносил «Авремка», по своему обыкновению подмигнув, я по простоте свой говорил ему: «Смеялись, кантор, почему-то очень смеялись!» Он хватал меня за ухо, драл и тербил, тербил и драл,— уверяю вас: тумачи Лейзерихи были невинной шуткой по сравнению с этим.

Однажды мы пели в каком-то городишке в субботу. Кантор усиленно готовился к молитве,— он имел виды подольше задержаться в этом городишке. В субботу вечером к нему собралось много народу, пили пунш, вино,— то были веселые проводы царицы-субботы. Кантор, как водится, жеманился, ломался, жаловался на горло, уверял, что простудился и должен несколько дней побережь свое горло, все колебался и тем не менее опять-таки, как водится, пошел на уступки собравшимся, исполнил песнопение об Илье-пророке, спел «волехл»¹. Вдруг вздумалось кантору послать меня за чем-то. И когда он позвал: «Авремка!» — я разверз уста и давай говорить весело и громко, во весь голос, потому что успел хлебнуть немного хмельного: «Го-го, кантор, над вами посмеялись!» Кантор, бедняга, переменялся в лице, побагровел и надулся как индюк, а публика осталась сидеть с растерянно вытаращенными глазами. Мне же показалось, что кантор не верит моим словам, к тому же выпитый пунш развязал мне язык, и я пошел молоть, божиться и клясться: «Честное слово, кантор, над вами смеялись! Вот эти самые люди потешались над вами!.. А тот самый, который все пьет и шепчется с вами, он, ей-богу, очень смеялся, когда

¹ В о л е х л — мелодия, которая сложилась под влиянием песенных мотивов Валахии (Румыния).

61

ный рог, мне предоставили право первому трубить в него. Для меня уже, пожалуй, началась хорошая пора, но что поделаешь, если не суждено человеку счастье!

Выслушайте только, как закончилось мое служение у кантора! Нетрудно представить себе, как трудился бедняга кантор в дни рош-гашоно¹. Заливался, как говорится, на все лады, помогал себе жестикуляцией; его голос на каждом слове раз десять взвивался вверх и опускался вниз, от полного звучания внезапно переходил к легким вариациям: гай-ди-ди-ди сюда, гай-ди-ди-ди туда; он буквально превзошел самого себя. Бас охрип от частых переходов,— с каждым коленом новый переход, еще раз ла-тум-дум-дум!! — и сызнова ла-тум-дум-дум!! Он обливался потом и утирался платком, которым все время размахивал, не выпуская из рук. Альту, бедняге, отказался служить голос, ему приходилось перекрикивать баса, сопровождать каждое слово кантора высокой тонкой руладой, а я, несчастный, почти каждую минуту должен был тоненько взвизгивать: «Татэню!» — и издавать протяжное тра-та-та-ти! Короче, мы трудились, драли горло на чем свет стоит.

В синагоге молился молодой человек, богач, несколько приверженный современным веяньям, полный, здоровый, шутник и очень хороший человек. Он любил дурачиться с детьми и страшно не любил кантора за его кривляние. И когда кантор во время молитвы «Шмойне-эсро» разогнался вовсю, как по почтовому тракту, выкидывая отточенные шутки «по-молодец-

¹ Р о ш - г а ш о н о — еврейский религиозный Новый год.

63

ки», ко мне, точно кошечка, пододвинулся шутник-богач и с совершенно серьезным видом тихонько спросил меня: «Скажи-ка, малыш, ты умеешь сводить губу вишней?» И в то же мгновение на его нижней губе вспела такая большая, такая красная вишня, что я расхохотался. В ту самую минуту кантор, отточив очередную штучку, ждал моего тра-та-та-ти! Когда увидели, что кантор вдруг замолк, точно подавился, все стали ударять ладонями по столам. Кантор посмотрел на меня с такой злостью, точно я ограбил его или не хотел вернуть долг. Глаза у него горели, лицо было красное, как разопревший цимес. Бас повернул ко мне голову, замычав, точно корова телке: ну, означало это, давай уже свое тра-та-та-ти! Но едва я прикоснулся пальцами к горлу, чтобы издать звук, богач снова свел губы вишней, и я против воли ни с того ни с сего разрился хохотом и визгом! Кантор растерялся, выскочил, что называется, из оглобель, запутался в постромках, сошел с прямого пути, опустил большую часть молитвы и к тому еще сделал несколько ошибок в тексте. Со всех сторон раздавались восклицания: «Ай! Ай!» Ударяли ладонями по столам. Женщины на хорах в женской половине синагоги сильно перепугались и в один голос закричали: «Ой, горим!» Тут перепугались мужчины и, толкаясь, стали выбегать из синагоги. Короче говоря, моление было нарушено. Народ остался страшно недоволен.

Назавтра после рош-гашоно кантор выгнал меня. Сам он, бедняга, со стыда и позора был вынужден уехать, чтобы где-то продолжать свои скитания. А я, злополучный, остался в Цвуянице на произвол судьбы.

64

ние ветер, откуда-то издали доносился стук мельницы и рокот, грохот стремительно бегущей воды. Снова налетая, ветер приносил с собой из города разноголосый шум, сумятицу звуков: крик петуха, мычание коровы, скрип открывающейся и закрывающейся створки ворот, дребезжанье, тарахтенье извозчицей телеги, лай дворовой собаки. По-видимому, в том переулке жили не евреи, иначе там не было бы садов, деревьев, земля не была бы усыпана опавшими листьями, и еврей, который меня вел, был бы вынужден нащупывать дорогу, чтобы, упаси бог, не наскочить среди улицы на корову, не наткнуться перед каждой дверью на разбитые ступеньки. Мой еврей все шел, не говоря со мной ни слова, пока мы не добрались до какого-то дворика и не вошли в небольшой низенький домишко. В маленькой передней теплилась свеча; там мой еврей снял с себя верхнюю одежду и вошел в следующую комнату, мне, однако, велел дожидаться в передней. Стоя за закрытой дверью, я услышал такой разговор...»

Этими словами заканчивался последний листок из тех, что дал мне раввин, и, так как была уже поздняя ночь, я прочитал молитву на сон грядущий и улегся на свое место в синагоге спать.

9

На следующее утро, едва управившись с молитвой, я наскоро закусил чем попало и, снова оставив на попечение служки мою тележку и лошадку, помчался к раввину.

В доме раввина я застал немало народу, все знать — общинные судьи и богачи. Самого раввина

66

8

Все дни рош-гашоно меня кормил один из цвуячицких евреев. Трудно точно определить, что это был за человек: не то чтобы хасид¹, но и не из современных, вроде и туда и сюда, или наоборот — ни туда ни сюда; одевался он ни по-дедовски, ни по новой моде; был он, как говорят, ни рыба ни мясо, немного недопеченный. Позднее встречал я на свете много евреев этой разновидности и никогда не умел как следует разобраться в них, не мог толком понять, что они за люди... Когда я остался один, бродил, как одинокая овечка, и не на что было день прожить, я подумал-подумал, да и зашел к этому человеку, рассказал о моих злключениях, о великой беде, постигшей меня. По натуре он был неплохой человек, молчаливый, слово скажет — что рублем подарит. Он выслушал меня, молча поглаживая усы. Потом задумчиво махнул рукой, — означало это, что я могу у него остаться, — и велел домашним накормить меня. Вечером, часов в десять — одиннадцать, когда на улице уже и пса бездомного не встретишь, а темнота такая, что хоть глаз выколи, он отправился со мной на самую дальнюю окраину города, в какой-то заброшенный переулочек. В этом переулочке было спокойно, тихо, как на кладбище; слышался только шум раскачиваемых ветром деревьев, шелест засохших листьев, еще оставшихся на каком-то деревце. Время от времени накрапывал осенний дождик, падал на опавшие листья, на засохшую ботву уже убранных овощей. Едва затихал на мгнове-

¹ Хасид — приверженец религиозно-мистического течения среди евреев.

8 Менделе Мойхер-Сфорим

65

еще не было. Все сидели словно задумавшись. Правда, богачи всегда немного задумчивы, озабочены, глядят на других мрачно, как-то так, что холодеют внутренности, хочется убежать от них и больше в глаза их не видеть. Никак не могу понять: раз есть деньги, к чему еще так задумываться, заботиться и напускать на себя серьезность? Для того чтобы считать деньги, не нужны, кажется, особенно высокие помыслы. Можно, кажется, иметь набитый деньгами сундук и глядеть на людей открытым взглядом, без недовольной гримасы... Ладно, что уж тут?.. Но не в этом суть.

— Что это вы так вздыхаете, реб Хоне? — спросил один богач другого.

— Вздыхаю, реб Бериш, — ответил реб Хоне, — о потере, которую мы понесли. Ицхок-Авром был очень полезный человек, мы все имели в нем друга, деятеля, умевшего хранить секрет. Он умер раньше времени. Прожить бы ему еще хоть несколько лет. Жаль, право! Нам всем следует вздыхать об этой великой потере. Ни на ком так не скажется смерть Ицхок-Аврома, как на городе, то есть на нас самих, имею я в виду!

— Пожалуй, ваша правда, реб Хоне, — отозвались все и глубоко задумались.

— Я еще должен сегодня быть на свадьбе, — произнес один из общинных судей, — мне предстоит обручение молодых.

— А у меня сосет под ложечкой, — проговорил другой судья, — раньше всех прочих дел я предпочел бы заморить червячка. Да мне уж и вправду приспело время поесть: кроме стакана цикория, у меня во рту сегодня маковой росинки не было.

— Меня вконец изводит мой геморрой, — вторгся в разговор еще один судья, — скажите, прошу вас, а

67

чем вы лечите свой? Говорят, морковный цимес прекрасно действует. Не знаю! Я до сих пор держался отварного чернослива с настоем александрийского листа.

— Лучшее лекарство от геморроя,— произнесли в один голос двое первых судей,— не подавать виду, что он у вас есть, и ничем его не лечить: это нам заповедали наши отцы...

Я сидел как на иголках, считал минуты: скорей бы уж явился раввин и я удостоился бы услышать конец всей этой истории, узнать, зачем я здесь так понадобился. Минуты тянулись бесконечно долго, ожидание утомило меня. Наконец бог сжалился надо мной, и пришел раввин. Лоб его покрывали морщины,— доказательство того, что голова у него полна мыслей. Он извинился, что заставил собравшихся немного подождать. Он был, оказалось, занят: проверял говяжью печеньку; это был сложный случай: шла речь о пригодности ее в пищу.

— Все ли вы в сборе, почтеннейшие? — спросил раввин, усевшись на свое место.

— Все, рабби, все, кроме одного... Для полного счета не хватает реб Файвуша.

— У реб Файвуша сегодня... Как бы сказать? Торжество... Погребальное братство, то есть реб Файвуш, получит немалый куш от наследников Ицхок-Аврома за его погребение... Так я полагаю,— проговорил один из богачей, желчный человек с перекошенной кислосладкой физиономией.

— Прошу прощения, почтеннейшие, что я занимаю вас этой историей,— обратился раввин к собравшимся,— вы люди занятые, купцы, каждый из вас отягощен заботами, заморожен множеством дел, и, конечно,

68

10

— «Стоя за закрытой дверью,— начал раввин читать далее,— я услышал такой разговор:

— Добрый вечер, герр Гутман!

— Добро пожаловать, герр Якобзон! О, что за гости! Вот уже три недели, как вы не были у меня! Что бы это значило, герр Якобзон?

— Как я мог, милый герр Гутман? Вы же знаете: наступила пора святых праздников, а местные евреи теперь еще более фанатичны, чем в иное время. Вы ведь знаете мое положение, знаете, как я завишу от этих людей, и если бы они увидели, что я иду к вам...

— Вы вполне правы, герр Якобзон. Если так, вы правы. Да, вы зависимы, у вас — семья.

— Вы уже закончили свое произведение, герр Гутман?

— О да, книга на диво удалась. Очень нужная книга! Жаль только, что у нас так мало людей, читающих по-древнееврейски.

— Скажите лучше, герр Гутман, что вы не получаете платы за свой труд, что вам, бедному, частенько приходится мучиться, к тому же еще незаслуженно страдать от злобы, терпеть гонения.

— Поверьте мне, герр Якобзон, писатель, поэт не нуждается, собственно, в другой оплате, чем быть понятным. Злоба, гонения, муки — все это только побуждает его дух к труду, тогда-то и хочется работать. Заслуженная злоба, ненависть, неуважение такому человеку так же приятны, как заслуженное уважение. Страдать за истину, за правду не означает, собственно, страдать. Страдать означает — льстить, лицемерить, обманывать себя, свою совесть, свое сердце, продать

70

13

вам некогда! Но что же мне делать? Ведь это же заслуга перед богом — выполнить завещание покойного. Он, мир праху его, пожелал этого от меня и по всей справедливости заслужил, чтобы просьба его была выполнена, как вы в этом сами под конец убедитесь. Извините же меня тысячу раз, почтеннейшие!

— Ничего страшного, ничего особенного! — отозвались все богачи.— Пожалуйста, рабби, эта история нам очень нравится. Мы не устали бы слушать ее целый день и целую ночь,— так она нам по сердцу. И даже без того Ицхок-Авром заслужил у всех у нас, чтобы мы потратили ради него немного времени и выслушали его жизнеописание. Оно, надо думать, к чему-то ведет... Конец, вероятно, необычайно интересен, и мы не пожалеем, что слышали такое...

Раввин, дай бог ему долгой жизни, взял сверток бумаг и, слегка откашлявшись, сказал:

— Мы с вами вчера, кажется, остановились на словах: «... я услышал такой разговор...»

— Да, на этом самом месте! — отозвался я и положил перед раввином те несколько листков, что он дал мне вчера.

— А-а! Хорошо, хорошо, реб Менделе! — сказал дружелюбно раввин и представил меня собравшимся:— Это наш гость, почтеннейшие, это — реб Менделе... Наш реб Менделе! Я позволил себе пригласить его: он необходим в этом деле. А теперь, почтеннейшие, соблаговолите слушать написанное далее.

И сразу же, как водится, люди начали кашлять, сморкаться, двигать стульями. Раввин, дай бог ему, долгой жизни, задумчиво глядел на бумаги, поглаживал бороду и ждал, пока народ успокоится.

69

свой разум. Вы думаете, быть льстецом, фальшивым человеком — это легкая, простая работа? Боже упаси! Это так же трудно, как быть вором. Лстец, лицемер, притворщик — что воры. Они вынуждены всегда бояться, быть настороже. Неужто вы верите, что все мои гонители, все мои мучители — религиозны, по-настоящему набожны и счастливы? О нет, нет! Определенная часть из них преследует, истязает меня исключительно из зависти. Ведь это просто: они чувствуют себя пустыми, невежественными, никому не нужными людьми, их терзает, что на свете существует разумный человек, который знает им цену, видит их насквозь и глядит на них открытыми глазами. Они боятся открытых глаз, как летучие мыши — лучей сияющего солнца.

— Действительно, герр Гутман, вы с вашими качествами и добрыми помыслами поистине достойны удивления, вам и в самом деле можно позавидовать. А знаете, зачем я, собственно, пришел к вам? Вы мне не раз говорили, что вам нужен мальчик, который был бы у вас на посылках. Мне встретился такой, и я привел его к вам. Кажется, честный мальчик, хотя и глуповат, неотесан.

Я почти целиком понял этот разговор¹, то есть не общую мысль, не смысл сказанного — это было выше моего разума,— я понимал лишь слова. Многие слова были наши, еврейские слова, а о значении немецких слов я догадывался,— разъезжая с кантором, я встречался с людьми, говорившими на множестве разных наречий. Сам кантор, когда это было ему вы-

¹ Вышеприведенный диалог изобилует немецкими оборотами речи.

71

годно, любил вкрапывать в свою речь немецкие слова и произносить обыкновенные наши слова не так, как их произносим мы, простонародье,— то есть там, где мы окаем, он акал. Талмудтора тоже дала мне кое-какие познания в немецком,— переводя из пяткинижия, мы прибегали к немецкому языку. В галантерейной лавке я перенял несколько немецких слов от старших приказчиков, которые в разговоре с иными покупателями вдруг переходили на немецкий диалект. Да и кроме всего прочего, все евреи понимают по-немецки. Это все-таки основа их родного языка...

Дверь внезапно отворилась, и меня позвали в комнату. Тот, с кем я пришел сюда, вижу, сидит без шапки, а «немец» берет меня за руку и говорит весьма дружелюбно:

— Ну, милый молодой человек! Хочешь получить приют в моем доме? Никаких трудных занятий у тебя тут не будет. Тебе придется выполнять самые обыкновенные работы и иногда кой-куда сходить по моему поручению.

Я тарачил глаза и как-то так простодушно глядел, что «немец» не мог удержаться от улыбки. Он мне, однако, очень понравился. Его лицо было такое доброе, и говорил он со мной так дружелюбно, не то что все другие, например — портной, кантор, даже, пожалуй, родная мать. Смотрел он на меня хорошо, спокойно, чем сразу расположил к себе. Я потянулся к своей смушковой шапчонке (я всегда носил смушковую шапчонку — и зимой и летом, даже в самую большую жару, когда ходил босиком), слегка приподнял ее, подержал над головой, снова надел, потом сдвинул набок, передвинул, натянул на лоб, отдернул на макушку, а другой рукой пощупал свои пейсы и почесал

72

На глазах у «немца» выступили слезы.

Он взял меня за плечи и, глядя прямо в лицо, сказал:

— Бедняжка, бедняжка! Он, видно, очень много выстрадал. Так молод, а у него, у бедняжки, уже ни единой косточки целой нет! Да, да! — обратился он к моему благодетелю. — Он и вправду туп, очень наивен, простодушен, но хороший юноша!

Тот в ответ молчал и только поглаживал усы.

— Нет! — снова заговорил «немец», обращаясь ко мне. — Я тебя, честное слово, не трону. Ты ведь такой же человек, как и я, а кроме того, ты еще и одинок. Будь спокоен, я тебя не буду бить. Ну, остаешься ты у меня?

— Да! — ответил я и остался у «немца».

11

«Немец», к сожалению, был очень беден, но бедность в его доме не имела власти, не проявлялась своей неопрятностью, неряшеством, опущенностью и всякими прочими уродливыми признаками нищеты, как это обычно бывает во всех других, а в особенности в еврейских бедных, а то и просто не слишком состоятельных домах. В доме у него был порядок, все на своем месте. Каждый уголок светился, сверкал чистотой. Мадам, его жена, следила за каждой мелочью, ни минуты не сидела сложа руки: варила, пекла, чистила, белила, подкрашивала, шила, чинила белье, и при всех этих занятиях, которые иных озлобляют, она всегда была кротка, спокойна, лицо ее всегда оставалось благодушным. На все у нее хватало времени.

74

затылок. Я просто не знал, что мне делать со своей головой и шапчонкой, пока наконец не набрался духу и, поручив себя божьей воле, резко сорвал шапчонку с головы. В ту же минуту я почувствовал, что мою обнаженную голову обвеивает прохладный ветерок, как если бы меня остригли. Я не мог удержаться, чтобы каждую минуту не потрогать свою голову. Мне это казалось странным, диким, — совсем как в бане!

— Ну, милое дитя мое, — проговорил «немец» и положил мне руку на плечо, — ты хороший юноша! Как тебя звать?

Я стоял ошалелый, совсем как когда-то перед тем «немцем», что посетил талмудтору: открыл рот, вынул глаза и выглядел чучело чучелом.

— Как тебя звать? — повторил «немец» свой вопрос.

— А я почему знаю!

— Как так? Ты не знаешь, как тебя звать? Кто же тогда знает?

— Мать, — ответил я, — называла меня Ицхок-Авромце, меламед в талмудторе — Ице-Авремеле, портной — шельмец Ицик-Авремл, сапожник, когда я таскал помойный ушат, подбодряя, называл меня Иценю-Авремению, а кантор — Авремка. Откуда же мне знать, как мое имя?

— Ты прав, — проговорил, улыбаясь, «немец», — но семи имен, как у библейского Иофора, у тебя нет. У тебя только одно спаренное имя: Ицхок-Авраам — очень красивое имя, в память о наших праотцах. Я так и буду тебя называть — Изак-Абрагам. Ну, скажи, хочешь ли остаться у меня, Абрагам?

— Только бы вы меня не избивали, не колотили. У меня уже, право, и косточки целой нет.

73

Как бы она ни была поглощена своим хозяйством, она тем не менее находила время взять книгу в руки, почитать, узнать, что нового на белом свете. Муж в ее глазах был существом высшего порядка. Она питала величайшее благоговение к нему и к его писательскому труду, ограждала от малейших волнений, которые могли бы стать помехой в его работе, и жили они поистине душа в душу. Их старшая дочь — красивая, нежная — помогала матери: стирала, гладила, делала все по дому и прекрасно вязала. Она имела лишь одно платье на смену, но каким безупречно чистым оно всегда было, казалось новехоньким, только-только сшитым! Каждый день в определенные часы она следила за занятиями своих двух младших сестреноч, причесывала их, опрятно одевала, занималась их воспитанием и образованием. Старший сын учился в университете и часто посылал оттуда родителям теплые письма, утешал их и просил не слишком тревожиться, не слишком расстраиваться, что они не в состоянии сколько-нибудь помочь ему деньгами. Правда, ему приходится туживато, он терпит лишения, однако, надеется, что все как-нибудь обойдется и он не умрет с голоду. «Не огорчайтесь, — заканчивал он свое письмо утешением, — то, что дали мне вы, не дали своим детям иные богатые родители: вы дали мне нечто большее, чем деньги: вы меня учили, воспитали мой разум; вы взрастили благородные стремления в моем сердце, заложили во мне добрые чувства: любовь к людям, сострадание к бедным, несчастным, приучили меня довольствоваться малым, переносить лишения, трудные времена, не теряя бодрости духа, — все те прекрасные качества, которых богатые родители при помощи всех

75

своих денег и всего своего состояния не могут дать своим детям...» Эти письма сына в доме часто читали вслух, радовались и в то же время заливались слезами. Короче, это была чудесная, редкостная семья. Но тогда у меня еще далеко не хватало ума разобраться во всем с той ясностью, с какой я это сейчас описываю; я только чувствовал, что Гутман и его жена — люди совсем иного склада, чем, к примеру, портной Лейзер с Лейзерихой, меламед реб Азриел со своей супругой и даже богатый галантерейщик со своей толстой, здоровенной галантерейщицей, которая всеми помыкала, благо язык удержу не знал, носила шелковое платье, жемчужные ожерелья, а вид имела самый неопрятный. Я видел, что этот дом непохож на другие, да что и говорить, совсем не те еврейские запущенные, хилые детишки; но понять по существу и верно оценить все достоинства семьи этого «немца» моему уму было еще тогда не под силу.

Хозяин днем и ночью сидел в своей комнате. На столе и под столом вокруг него валялись книги, а он все писал. Он был очень поглощен своим делом, отдавался ему телом и душой; было видно, что он буквально живет им. При этом он иногда говорил сам с собой, смеялся или скрежетал зубами, будто вел бог весть с кем какой-то спор. Если его в такую минуту прерывали посторонним делом, он вздрагивал от неожиданности, точно его сбрасывали с неба на землю, глядел растерянно и отвечал невпопад, ни к селу ни к городу. Я не раз уходил, пожимая плечами, так и не поняв, что он сказал. Чистить его сапоги мне не приходилось, — он очень редко выходил из дому. Но уж зато его халат и домашние туфли изнашивались очень быстро.

76

сильные книги еврейским богачам, выслушивать при этом их колкости, видеть, как они меняются в лице, расплаются, приходят в бешенство, и наблюдать их мрачные физиономии!

Мой благодетель, герр Якобзон, частенько приходил к хозяину поздно ночью, недолго сидел, беседовал. И когда меня не одолевала усталость, я иногда за дверью прислушивался к их разговору, просто так, чтобы провести время. Однажды я услышал, как Якобзон рассказывал о каком-то докторе Штейнгерце и чему-то очень удивлялся.

— Пустое, — отозвался Гутман, — чему вы так удивляетесь, герр Якобзон, что вас приводит в изумление? Доктор Штейнгерц — это же человек, именно поэтому он так богат. Он же — душа всех и каждого. Разве это новость для вас? Разумеется, когда превращаешься в маленького человечка, достигаешь всего на свете.

Я затрепетал, услышав эти слова. Как так? Гутман, мой герр Гутман тоже говорит, что человек — это душа. Что он — богат!! Потрясенный, я вскочил и схватился за голову в сильнейшем возбуждении. Как раз в эту минуту меня позвал Гутман и, увидев мое растерянное лицо, не удержался от улыбки. Мой благодетель посмотрел на меня, покачал головой и сказал: «Э-э! Он все еще такой же глупыш, такой же простачок, что и был!..»

Спустя короткое время я снова подслушал за дверью, как Якобзон говорил об Исере Варгере, о том, как богат он и счастлив, этот главный воротила в городе, а почет, которым он пользуется, и его могущество попросту сверхъестественны!

— Это очень просто, — сказал Гутман, — Исер

Главная моя работа состояла в том, чтобы сбежать куда-нибудь по поручению хозяина. Он часто посылал меня на почту, получать и отправлять письма или посылки. Иногда он посылал меня к кому-нибудь с запиской, с книгой или с иным подобным поручением. Казалось бы, по существу, пустяковая работа, не так ли? Очень легкое дело! Однако же нет! Другой такой неприятной, постыдно-трудной работы и не сыскать. Тот, кому я относил записку, бывало, так воротил нос, точно в него ударяло острым запахом свеженатертого хрена, и со злостью говорил, чтобы я пришел завтра, потом он откладывал на послезавтра. Послезавтра я не заставал его дома, а когда позднее приходил снова, он уже встречал меня криком: «Вот навязался этот мальчишка на мою голову. Избавиться от него невозможно!» Иной же попросту называл своим слугам не пускать меня на порог; третий, прочитав записку, мялся и уходил, не сказав ни слова; четвертый произносил: «Скажи твоему герру, что меня нет дома! Понял?..» Короче говоря, меня гнали, избегали, как прокаженного. Как только завидят, бывало, меня издали, с запиской или с книгой, так запирают перед моим носом дверь или натравливают на меня собаку — лакея... Видно было, что большинство хозяев, к которым я являлся, попросту приходят в ужас, лихорадка трясет их при виде книги, судороги им сводят руки и ноги. Чего они так боятся? Этого я тогда еще не мог понять. Если один из десяти, сжалившись, и принимал книгу, он тут же бросал ее к черту, куда-то под кровать или под скамью, а мне давал рваный целковый, без номера... Это была в моей жизни очень горькая пора. Желая всем моим врагам подвергнуться такому испытанию — но-

77

Варгер — человек, он — душа нашего богача. Все это как раз в полном согласии с законами природы, все это очень естественно, и нечему тут удивляться.

— Да, ваша правда, хорошо живется на белом свете только человечкам! — проговорил Якобзон со вздохом, сразу же попрощался и ушел.

12

Добро пожаловать, человек! Снова человек, и опять-таки мои первые, давние мечты! Человек был для меня желанным гостем. Как бы загаданный, он явился в самое подходящее время, когда я был разбит, пришиблен перенесенными невзгодами и рад был хоть в чем-нибудь найти успокоение. Всю ночь после того разговора я тревожно метался, ворочался с боку на бок и все размышлял про себя: «Исер Варгер — человек, он — душа всех и каждого, к тому же богат и счастлив. Значит, по-видимому, если ты человек, ты богат и счастлив! И по-видимому, как выясняется, человек может превращаться в человечка, стоит ему только захотеть. А когда он становится человечком, к нему приходят и богатство и счастье, он достигает всего, чего хочет. Следовательно, очевидно, я всегда был прав, мечтая стать человечком. Да, все это и вправду верно и, конечно, очень хорошо! Вопрос только в том, как стать человечком? Как осуществить это? Если я даже сожмусь, скорчусь, согнусь в три погибели, я все же не стану человечком. Как видно, стать человечком — это хитрая штука, поистине величайший фокус, куда более сложный, чем фокусы с обручем и иные комедиантские штучки. Здесь, несом-

79

ненно, кроется какая-то тайная премудрость, потому что иначе все смогли бы стать человечками, душонками, богатыми и счастливыми людьми!..»

Этим размышлениям я предавался очень долго. Все думал, обдумывал на своем ложе, и когда наконец уснул, мне приснились прекрасные, дивные сны.

Снилось мне, что я встретил на улице человека; он вытворял всякие штуки — вертелся волчком, шнырял то туда, то сюда. Вот он подскакивает к синагогальному приделу¹, подбирается к собравшимся там людям, паясничает и разыгрывает с ними, бедняжками, комедию. Люди не заставляют себя долго упрашивать, раскошеливаются и щедро расплачиваются за проделки... Отсюда он, человек, значит, забрался за пазуху к откупщику сборов, славно пощекотал его, и оба смеялись, — что-то доставляло им невыразимое наслаждение, и тотчас же он, словно его позолотили, выскочил из кармана откупщика, который три раза сплюнул и сразу приделал себе новые карманы!.. Из кармана откупщика человек впрыгнул в рот к двум милым созданиям, усевшимся установить справочные цены на мясо. Они только что были готовы произнести: сорок пять грошей за око²... А человек, ухватив их язык своей ручонкой, будто смазал чем-то, и они, эти милые создания, поперхнулись и неожиданно произнесли: «Шестьдесят!..» Из их рта он, точно бесенок, махнул и вцепился в какого-то богача, крутил, вертел его, проделывал с ним разные штуки и превратил в кожаное дышло... Кожаное дышло

¹ Синагогальный придел — особая пристройка к синагоге, куда люди сходились для решения общинных вопросов.

² Око — вес в три фунта.

день тебе, шельмец Ицки-Аврем! Я сам, собственной персоной, лежу на моем ложе, точно в наследной вотчине. Щупаю себя — там, тут. Да, честное слово, — это я! Я, неудачник, во весь свой рост и во всем своем величии. Откуда, думаю, я здесь вдруг взялся? Ах, и ненавидел же я себя за то, что проснулся, и за то, что это был — я, тот самый, прежний!..

Ничего, думал я потом, дознаюсь, как становятся человеком, пусть мне это жизни стоит, но дознаюсь. И стал я тут рассуждать таким образом: ведь приснилось мне, что я стал человеком — богатым, счастливым и главным заправилкой в городе, кажется, именно тогда, когда я перестал думать, чувствовать, видеть и слышать. Выходит, значит, что нельзя стать человеком иначе, чем перестав думать и чувствовать, то есть надо просто-напросто совершенно ничего не думать, вовсе ничего не чувствовать. Пусть люди хоть гибнут из-за тебя, пусть хоть сами себя убивают. Но что же для этого нужно сделать? Каким образом перестать думать и чувствовать? Вот в этом-то и вся загвоздка, вот тут-то и собака зарыта! И меня осенило: надо спросить у моего герра. Но я сразу же одумался: как же так?! Знай Гутман этот секрет, он бы давно сам стал человеком! Он был бы богат, не мучился бы так, не терпел бы нужды, не приходилось бы ему унижаться, рассылать книжки и быть в зависимости от каждого. Я обдумал этот вопрос со всех сторон, да так и остался ни с чем.

Весь день я потом ходил сам не свой, у меня раскалывалась голова, не знал, на каком я свете и что делаю. За что ни брался, все валилось из рук. Я в тот день разбил два чайных стакана, уронил на пол фарфоровые тарелки, опрокинул чернильницу, разо-

обратилось в пронырливую мешалку. Мешалка стала галескотомом, потом кургузым сюртучком, и вдруг человек оказался сидящим верхом на общинном козле, на главном заправиле, пасуемся, разумеется, среди стада городских скотин!.. Одним словом, человек усердствовал, выделял разное, и все, что он творил, получалось как-то очень хорошо. Я ему так завидовал, что начал съезживаться, подобрал под себя ноги, скорчился, сжался, задержал дыхание, пока не перестал думать, чувствовать, видеть и слышать, и вдруг — о, счастье! — я сам человек, маленький, как блоха! Мне стало очень хорошо, я почувствовал облегчение, покой разлился по всему телу. И сразу же стал я душой всех и каждого, общим любимцем, и счастье валило ко мне со всех сторон. Я разъезжал в карете, наряженный, как сановник, мне все воздавали почести, преподносили все, что есть лучшего, прекрасного. Мне везло! Я делал все, что хотел, весь город водил за нос. Каждый издали тыкал в меня пальцем: «Смотрите, смотрите! Вот разъезжает он, душа наша! Вот шествует он, душа наша! Вот о чем-то там глаголет он, душа наша! Ах, ах, полюбуйте только на него, на душу нашу! Тише! Что-то нам скажет он, душа наша? Как, у вас имеются деньги на приданое? Сдайте их на хранение ему, душе нашей! У вас есть какая-то тяжба, разбирательство? Обратитесь, право, к нему, к душе нашей! Вы, может, нуждаетесь в какой-нибудь услуге? За услугой — только к нему, к душе нашей! Умница, советчик, авторитет, делец, староста синагоги, сборщик пожертвований — все это только он, душа наша!..»

Внезапно я начал распрямляться, вытягиваться, все светлее и светлее становилось глазам, и — добрый

гревая самовар, все перепутал: в резервуар для воды насыпал уголь, а в трубу налил воду. Все в доме с удивлением глядели на меня, шушукались, чувствовали, видимо, что со мною что-то неладно. Гутман, показав на меня своей мадам, прикоснулся пальцем ко лбу и тихо проговорил: «У мальчика в голове что-то не в порядке. У него и всегда глуповато-растерянный вид, но сегодня он выглядит растеряней обычного; он, бедняжка, очень забит, к тому же он еще совсем ребенок!..»

Долгое время я был почему-то зол, как десять чертей; все меня раздражало, злился на себя и на весь мир. Сердце мое усиленно билось, в голове шумело, грохотало, точно на мельнице, и чей-то голос все твердил мне: «Ицхок-Авром! Какой из тебя выйдет толк? До каких пор тебе скитаться и мучиться? Стань человеком, Ицхок-Авром! Сделай все, что можешь, и стань человеком, будешь жить счастливо, в богатстве, в почете, расправишь свои косточки!..» Этот голос ни на миг не переставал сверлить мой мозг. Я ходил как потерянный, как полоумный и все не мог придумать, что делать, с чего начать? Вдруг у меня молнией блеснула мысль — надо напиться лакеем к доктору Штейнгерцу! Там я хорошенько присмотрюсь, выведаю каждую мелочь и со временем доберусь до тайны — как стать человеком.

Надо быть таким несчастным, таким забитым мальчонкой, как я, чтобы понять, что тогда творилось в моем сердце и какие небывало сильные чувства пробудила во мне эта мысль. На белом свете всякий, даже тот, кто серьезно смотрит на вещи, разбирается в житейских делах, имеет, как я позднее в этом убедился, свои чудачества, свои странности, свои глупо-

сти, безумия, которые он сам себе внушает и к которым он привержен всем сердцем. При этом причуды одного кажутся другому дикими. Никто не может войти в положение другого и сносить его глупости. Каждый берет в качестве примера только себя, один смеется над другим, и все — сумасброды!..

Я подыскал маклера, пообещал щедро вознаградить его, только бы он устроил меня слугой к доктору Штейнгерцу. Прошло немного времени, и я ушел, почти сбежал от моего доброго герра Гутмана, даже не попрощавшись с ним. Я перешел на мое новое место — к доктору!

13

С того дня как я впервые переступил порог дома доктора Штейнгерца, я напоминал собой клопа, который забирается в кровать и терпеливо просиживает там целый день в ожидании минуты, когда люди, управившись со всеми своими делами, улягутся в кровать и он наконец сможет свести с ними знакомство, промыслить немного насчет пропитания. Да и весь смысл его появления здесь — это пропитание, желание чем-нибудь поживиться, получить возможность присосаться к людям, к этим милым созданиям... Доктору Штейнгерцу, расторопному человеку, поглощенному какими-то очень важными делами, загребавшему золото со всех сторон, и в голову не приходило, что сегодня утром к нему забрался один такой клоп — шельмец Ицик-Авремл, который будет зорко подглядывать за всеми его повадками, чтобы

84

толстяк. Когда он выходил или входил, я вытягивался на полу, чтобы надеть или снять с него галоши. Он в это время упирал руки в бока и горделиво глядел в потолок. Его ни чуточки не трогало, что он своими толстыми ногами, точно копытами, отдавливает мне пальцы. Я все еще не мог понять, кто он такой, этот здоровенный толстый мужчина?

Однажды вечером, управившись со всеми своими делами и предоставив «котику» резвиться со своей «любушкой», я спустился вниз на кухню, чтобы поближе познакомиться с кухаркой, и, придав своему лицу жалобное выражение, спросил:

— Скажите мне, пожалуйста, Двоя, кто он, этот вот самый, что часто приходит в гости? Почему он за панибрата с мадам и спит... в спальне?

— Что, что? — спросила кухарка, глядя на меня с удивлением. — О ком ты говоришь? Как так — кто-то спит в спальне? Почему «кто-то»?

— Честное слово! — начал я клясться. — Дай мне бог так стать на ноги, сподобиться услышать рог мессии¹, как я сам, своими глазами видел, своими ушами слышал, что он вошел туда! Пошли нам с вами бог здоровья и счастья, не вру! И величает она его там не то котом, не то котиком, черт его знает!

— Ну, а хозяин? — спросила кухарка с повеселевшим личиком, и в глазах ее разгорелся огонек, совсем как тот, при котором в печи румянятся халы.

— Хозяин?.. — ответил я и при этом несколько замаялся, как человек, которого мучает что-то, чего он

¹ Услышать рог мессии. — Согласно еврейской религиозной легенде, появление мессии (божьего помазанника) будет оповещено звуком бараньего рога. Приведенная клятва означает: дожить бы до прихода мессии.

86

перенять его хватку в добыче пропитания и научить у него искусству превращаться в человечка.

Целый день я работал, выполнял все, что мне поручала мадам, а в душе потихоньку ждал: ой, скорей бы мне увидеть маленького доктора! Вечером вдруг открылась дверь, и вошел высокий человек, верзила с большим животом. Увидев верзилу, я просто душно, по моему обыкновению, уставился на него. Верзила это не понравилось. Он пронзил меня взглядом и сердито рявкнул:

— Что ты так смотришь, болван?

Таких слов я еще никогда не слышал и растерялся. Я задрожал, затрясся и заговорил, сам не понимая, о чем лопочет мой язык:

— Меня звать... Ицик-Авремл звать меня... Авремка!.. Я сирота... Я здесь... Слуга я тут!..

— Видно, что ты большой дурак! — ответил верзила. — Так вот, с сегодняшнего дня смотри — как только я приду, быстро снимай с меня шубу и галоши, слышишь?

Я так испугался его, что бросился на пол и обхватил ручонками здоровенные ноги детины, пытаюсь снять галоши. Бог мне помог благополучно выдержать это испытание. Верзила вошел в зал. Немного позднее я внес в зал самовар и весь вечер обслуживал этого субъекта и мадам.

Ночью на моем ложе я все размышлял: кто бы он мог быть, этот самый господин с большим животом? Целую ночь сидят они вдвоем с мадам и любезничают, он ей — любушка, она ему в ответ — котик. С какой такой стати «котик»? А где он, удивляюсь я, где доктор?

Несколько дней подряд нам наносил визиты этот

85

не хочет высказать другому. — Хозяин, по-видимому, не ночует дома. Он, не иначе, уехал куда-то по своим делам...

— Ну, раз такая история, — сказала кухарка с каким-то лукавым смешком, — я не прочь сама подняться и посмотреть. Я уж найду какой-нибудь предлог... Стоит, право, убедиться, что мадамы не лучше служанок... И пусть они не корчат из себя скромниц!

Через несколько минут кухарка вернулась назад вся покрасневшая, точно охваченная пламенем, разверзла пасть и осыпала меня градом страшных проклятий:

— Ах ты мерзавец, негодяй ты этакий! Ты же заслужил, чтобы тебя разорвали... В клочья разодрали! Неслыханное нахальство сопляка, протухшей душонки! Ах ты падаль червивая! Пусть вся эта мерзость к тебе и к душе твоей на всю жизнь прилипнет, Авромнаглец! Все несчастья, предначертанные мне и всему народу нашему, господи боже, пусть обрушатся на твою голову! Задохнуться бы тебе, боже милостивый! Подохнуть бы тебе и веки из мертвых не воскреснуть, владыка небесный! Такой молодой, а уже умеет целый дом взбаламутить сплетнями! Весь век бы тебе на мягком не лежать, — ведь это же сам барин сидит там с мадам в спальне!

— Бог с вами, Двоя! Что вы такое говорите? — пытался я оправдаться перед кухаркой. — Одумайтесь только, Двоя, что вы такое говорите! Как так? Этот высокий верзила, вот этот брюхатый толстяк...

— Черт бы побрал тебя и всех твоих предков до седьмого колена, мерзавец ты этакий! — еще громче раскричалась кухарка и, завизжав, схватила кочергу. — Как ты смеешь, негодяй, называть хозяина...

87

Верзилой называть, негодяй! Вон* отсюда, или я тебе голову размозжу!

Я мигом убрался из кухни и снова бесшумно поднялся наверх. Улегшись спать на свое место в передней, я от великого потрясения не мог сомкнуть глаз, все думал: что же я тут слышу и вижу? Доктор-то, оказывается, большой, высокий, толстый! Почему же Гутман говорил, что он человек? Неужели Гутман солгал, так грубо солгал? Нет, не может быть! Гутман никогда никого не обманывал, все, что говорил Гутман, всегда было правдой. Что же здесь творится? Тут, конечно, что-то не так... Уж не кроется ли тут какое-нибудь колдовство? Раз человек может представиться волком, вурдалаком, принимать различные обличья — а уж это дело достоверное, ясное как день: я много раз слышал об этом от старых людей с седыми бородами, — то не так уж трудно поверить, что человек может превратиться в человека и таким образом добиться счастья! Так, так... Итак: раз человек может стать волком, диким зверем, который бежит и воет, пожирает всех, кого встречает на пути, то оборотиться в человека ему не так уж трудно. Ведь он останется при прежнем обличье, с тем же самым лицом, что и раньше, только из большого станет маленьким... Да, слава богу, я выбираюсь, кажется, на верный путь. Все дело, видимо, кроется в какой-то штучке, в каком-то фокусе! Надо это обдумать, хорошенько понаблюдать и, пусть хоть весь мир прахом пойдет, разгадать секрет!

На этой новой мысли мой детский разум, как видите, укрепился и уже сделал следующий шаг. Прежде моя вера в человека была несуразна, ребячлива: просто-напросто на свет являются готовые человечки.

Теперь же она стала возвышенной, облагороженной, она приобрела какой-то смысл и силу, духовное начало было в ней уже связано с законами естества, и означало это: все люди являются в мир такими, какие они есть, но часть людей умеет превращаться в человечков при помощи колдовства, чертей... Тут уже лежит какая-то сверхъестественная сила!..

Когда я несколько дней спустя стоял за дверью, ведущей из передней в кабинет доктора, мне довелось услышать такой разговор между доктором и его фельдшером:

— Эта неделя, доктор, была у вас, не взглянуть бы, очень хорошая. Я ради вас, грех жаловаться, много стараюсь. Все, что от меня зависит, усердно делаю. Где только можно, я расрубил о вашем великом мастерстве, чуть что, советую вызывать вас, только вас. А вы для меня, доктор, палец о палец не ударяете.

— Что ты говоришь, Гецл? Как так? А вчера, только вчера?

— Что вчера? Что такое, доктор, было вчера?

— У тебя короткая память! Ты, видно, забыл, Гецл! А ради кого велел я вчерашнему больному поставить тридцать пиявок? Он, между нами говоря, так же нуждался в твоих пиявках, как и мы с тобой. Было бы вполне достаточно приложить мокрую тряпку к голове. Фу, стыдно тебе, право, Гецл! Только ради тебя я вчера действительно сделался маленьким человечком!..

— Вы, доктор, только вчера были человечком, как вы говорите, а я всегда ваш человек — и позавчера, и вчера, и сегодня. Между нами говоря, разве сегодняшнему больному нужен был доктор? У него просто насморк, и, только послушавшись моего совета, он вы-

звал вас... Значит, есть надежда, что он еще две недели будет вас приглашать, и по два раза в день. Ничего, не страшно: он богат, этот боров, и вполне может прохворать пару недель...

— Ну, так чего же ты хочешь, Гецл?

— У меня много пиявок! Пиявки, доктор!

— Будь спокоен, Гецл! Ты будешь ставить ему пиявки. Постой! Но доброкачественный ли у тебя товар, Гецл? Ты ведь знаешь, я очень строг в этих вещах...

— Свеженькие пиявочки, доктор, бог мне свидетель! Я и сам избегаю обманывать других...

«Э-ге-ге! Так вот как дело обстоит! — думал я про себя, после того как услышал весь этот разговор и хорошенько разобрался в нем, лежа ночью на своей кровати. — Судя по тому, что я тут слышу и вижу, человека называют человечком не просто потому, что он мал ростом, как я, глупенький, думал раньше. Можно, оказывается, быть большим, даже очень большим, и одновременно маленьким человечком». Я постиг, что быть человечком, — значит, присасываться и пить чужую кровь, жить обманом... Так вот где собака зарыта! Теперь я начал понемногу все как следует понимать, набираться ума-разума. Вот что значит пообтесаться среди людей на белом свете! Но легче ли мне от того, что я узнал этот секрет; ведь я же не доктор, не фельдшер, не умею ставить пиявки. Необходимо искать какой-то другой способ. Что-то в том же роде, но на иной манер, — и присосаться к чему-то, и вместе с тем не просто сосать кровь. Существует, вероятно, и много других способов, о которых надо дознаться. В этом доме мне уже больше делать нечего. Как же быть дальше? Ага! У меня вдруг блеснула мысль: быть может, Исер Варгер? Право, гово-



рю я сам себе, это дельно. Надо пролезть к Исеру Варгеру, честное слово, к Исеру Варгеру! Сердце подсказывает мне: к нему, к Исеру Варгеру! Исер Варгер ведь тоже — человек, и с очень большим размахом, а?!

Такого рода мысли завладели мной и не давали спать почти всю ночь. В эту ночь я стал старше на несколько лет, почувствовал в себе какую-то перемену. Назавтра я не мешкая разыскал своего знакомого маклера, пообещал вознаградить его еще щедрей, чем прежде, и через несколько дней он всучил меня Исеру Варгеру».

14

— Одно только слово, ребе¹, не помешаю!.. А? Что? Можно мне? — вдруг прерывает чтение чей-то громкий голос из-за двери, и тотчас же, не дождавись ответа, в комнату вваливается упитанный человек с обросшим лицом, без кафтана, в заплатанной фуфайке, из-под которой выглядывают обрывки болтающихся у коленей засаленных ципес, в грубых, прошу прощения, портках, огромных сапожищах, покрытых толстым слоем грязи, возможно еще прошлогодней, издававших едкий запах пота и дегтя.

— А, Беня! — произносит раввин, взглянув на эту фигуру. — Что ты скажешь, Беня?

— Что мне сказать? — отвечает Беня, почесав затылок. — Так, ничего... Говорю, деньги за месяц я уже у раввинши забрал. Воду еще вчера ночью шесть раз

¹ Ребе — здесь: раввин

93

привез, всю ночь вчера имел дело — возил. Кончина Ицхок-Аврома меня — ну и ну! — здорово подвела. Мои расчудесные хозяева, что по соседству с ним, воду вылили¹, остались без воды... Ну, нет воды, невозможно варить... Кто виноват? Водовоз виноват. Тому хочется умереть, ну ладно... Так нет же! На чью голову это валится? На водовоза, на его голову. Ходи, езд, вози им, провались они сквозь землю! Вози им воду. Всю ночь не спал. Уже засветло, только я задремал, подходит мать, жить ей долгие годы, будит меня: «Беня, Беня! Вставай, запри за мной дверь. Беня, я к первой молитве иду, а из синагоги, Беня, пойду на кладбище, поминки сегодня у меня. На загнетке варится горшок кулеша, я поставила, присмотри за ним». Выпроваживаю мать и ложусь. Дремлю, слышу — пик-пик-пик. Петух с курами, провались они сквозь землю, стоят на столе, клюют ломоть хлеба, клюют вовсю. «Киш!» — кричу. Киш — раз, киш — два; что понимают куры? Клюют себе. Тут как раз, пропади она пропадом, повернулась деревянная ложка, мясная...² Я — хватъ ложку и — к курам. Слышу — что-то выкипает на загнетке, вот я ложкой мясной не в кур — а в молочный горшок... И вот тебе незадача! Как же быть, ребе? Разве ложка мясная? На ней еще нет и трех щербин, совсем как молочная ложка. Мясного, честное слово, ею не ел, боже упаси!

¹ Религиозные евреи полагают, что смерть наступает тогда, когда меч ангела смерти соприкасается с телом человека. Покидая умершего, ангел смерти омывает свой меч в воде, хранящейся в бочках и горшках соседних домов. Эту воду, по предписаниям религии, полагается вылить.

² Согласно еврейской религии, полагается иметь отдельно посуду для молочной и мясной пищи.

94

Клянусь здоровьем! А горшок молочный потому, что всегда с загнетки ставится на молочную скамью¹. Ведь с тех пор, как моя коза подохла, нет мне молока, кукиш мне, а не молоко! Вот, ребе, и разрешите мой вопрос!

— А велик ли горшок? — спрашивает раввин.

— Больше моей головы, — отвечает Беня, — может, с ведро; я из него наедаюсь до отвала, потом работаю целый день без харча.

— Кошер!² — решает раввин.

Беня выходит, и вбегает женщина с криком, с плачем:

— Ребе, сил моих больше нет выдержать такое! Вы, конечно, только хорошего желали, дорогой ребе, когда наладили нашу жизнь, не допустили до развода, но — врагам моим пожелаю такую жизнь. Ваши золотые слова отскочили от него как горох от стенки. Разве он прислушивается к тому, что целый мир говорит? Он делает свое и изводит меня до смерти. Я унижаюсь, беру в долг, скупаю на базаре яйца, кур, только бы что-нибудь заработать, только бы поддержать голодных, оборванных, ободранных детишек, а он... Он знает ничего не знает, кроме своей хасидарни³, где проводит целые дни со своими друзьями. Пьют, болтают, рассказывают сказки, а домой он является на все готовенькое. Глянул бы хоть раз на детей, хотя бы для виду спросил, как они поживают. Ему вообще до них дела нет, точно они ему чужие.

¹ Молочная скамья — на которой готовилась только молочная пища.

² Кошер — дозволенное религией к употреблению.

³ Хасидарня — место, где собираются хасиды.

95

Мне никогда доброго слова не скажет, точно я ему продана, точно я служанка, недостойная даже прислуживать ему. Только и слышу: «Безмозглая дура! Отрежь!» Под праздник уезжает он к своему ребе¹, забирает у меня последнее и валандается там с компанией таких же, как и он. Трогало бы его хоть немного, что у него есть дом, жена и дети, что они часто сидят без куска хлеба, горе мыкают, бедняжки. А посмей я хоть словом возразить ему, он страшает, что бросит, оставит меня, докажет свое старшинство, докажет, чего стоит женщина. Женщина, говорит он, никчемное, никудышное существо! Сегодня утром приходит из молельни: в доме холод, хоть волком вой, уже больше двух дней, как из моей трубы дыма не видать. Дети дрожат, трясутся, просят есть, а маленький в колыбельке уже охрип от крика; я бедняжку грудью не кормлю: нет у меня в груди молока. Да и откуда ему взяться, когда я уже два дня сохну, во рту ложки варева не было. «Дура! — говорит он мне торжественно. — Увяжи в узелок рубаху и субботный кафтан». Я поняла, что он собирается со своей компанией ехать «туда»: ведь скоро ханука. Горько стало у меня на сердце, очень горько, я возьми и скажи ему: «Душегуб ты этакий! О чем же ты думаешь? Взглянул бы ты хоть на своих детей, как они чахнут, страдают, а твоя голова забита пустыми, глупыми затеями! Так уж и быть, жена, говоришь, никчемное существо, дура, баба, сука, но дети, — кричу я, — твои дети!..» Только я ему все это высказала, как налетел он на меня со злостью, с криком: «Ах ты дура! Ты смеешь так бранить меня, называть глупостями свя-

¹ Ребе — здесь: глава хасидов.

— «Исер Варгер был одним из самых видных хозяев в Цвуянице, все перед ним трепетали и гнулись в три погибели, всех бросало в дрожь при одном его слове. Ведь это, учтите, Исер, шутка ли сказать — сам Исер! Исер торговлей не занимался, палец о палец не ударял, и тем не менее в его доме всегда кипело точно в котле, — одни входили, другие выходили; все — от мала до велика — к реб Исеру. Вы, может, подумаете, что он был очень родовит, что у него были большие познания в священных книгах? Избави боже! Не то что не большие, но даже и не малые. Он едва-едва знал молитвы, был, как говорится, туговат по части текста, то есть прихрамывал в грамоте. И все же мешочек, в котором лежали его талес¹ и филактерии², был порядочной величины, скроен из нескольких нежных шкурок и обшит красной каймой. Там находился молитвенник «Дорога жизни», псалтырь и тому подобное. Рука у него к письму не имела сноровки, перо, как назло, ни за что не хотело ему повиноваться: он толкал его в одну сторону, а оно уползало в другую, куда вздумает, брызгало, делало кляксы, царапало, спотыкалось и вставало торчком. Ему; бедняге, великих трудов стоило каждое написанное слово, и, прежде чем из-под его руки черным по белому вырастала подпись «Исер», глаза у него вылезали на лоб, с него прямо-таки семь потов сходило. Рукавом рубахи или кафтана вытирал он лоб и сопел, точ-

¹ Талес — молитвенное облачение.

² Филактерии — кожаные коробочки с заключенными в них библейскими текстами. Во время молитвы филактерии надевают на лоб и левую руку.

тыни, которые не под силу твоему бабьему уму!.. Ах ты такая-сякая! Ну, на этот раз — конец! Я тебя навеки, вот именно навеки покидаю, и останешься ты себе на позор брошенной! Ничего! Я мужчина, и тебя, отрежь, я обязан проучить, чтобы ты поняла, что такое женщина...» Мало ему было того, что он мне наговорил, он меня еще исщипал. Вот смотрите, прошу прощения, как он исщипал мне руки; видите, все в синяках! Помогите, ребе, спасите меня! Пусть он даст мне развод. Сил моих больше нет выдержать такое!..

— Иди, иди домой! — говорит раввин мягким, дрожащим голосом, и глаза его делаются влажными от жалости. — Я сегодня же пошлю служку, чтобы он его ко мне привел.

Едва вышла эта женщина, вошла, шаркая шлепанцами, жена служки в накинутом на одно плечо халате. Под мышкой у нее была простыня.

— Бог в помощь! — прикоснувшись рукой к мезузе², обратилась она к раввину с благочестивым выражением на личике. — Хочу побеспокоить вас только на одну минуту, ребе, продли господь бог ваши дни, с вопросом по «женской части». Возьмите, ребе, пожалуйста, простыню.

Разрешив дело с простыней, раввин подошел к столу и начал читать далее.

¹ Брошенная — женщина, покинутая мужем без развода. Согласно еврейской религии, женщина, не получившая развода, не может вторично выйти замуж.

² Мезуза — молитвенный амулет, прибитый к косяку двери. По преданию берущих, он предохранял дома от проклятия в них нечистой силы.

но дрова колот. Но одно его достоинство следует отметить — к написанному им он не относился, как иные, слишком педантично, одна буква в его глазах не играла особо важной роли — стой спереди или сзади, а то и вовсе не стой, невелика беда: кому надо, тот догадается, не страшно! Если же порой кое-что и вызывало его сомнение, тут-то как раз перо и приходило ему на выручку — оно совершало рывок, спотыкалось, сажало кляксу, и тем самым устранялись все колебания.

Такова была, уж не взыщите, ученость Исера. Что же касается его родовитости, то тут и вовсе нечем похвастать. Он не происходил из высокой знати и в детстве лепешек с маслом не едал. В том-то и дело, что он, как я позднее в этом убедился, действительно был маленьким человечком и именно благодаря этому преуспел неизмеримо больше, чем иной, причастный к науке или торговле. Он был поистине душой цвуяичьего богача. Чуть что — Исер, Исер, Исер, только Исер! Исер был его душой, его ногой, его рукой, Исер был для него всем на свете, и поэтому, само собой разумеется, Исер был всеми уважаем, был первым заправилкой в городе.

У этого реб Исера я научился очень многому. Он, именно он и был моим подлинным наставником. Он раскрыл мне глаза; он мне, как говорится, разжевал и положил в рот великое множество явлений, происходящих на белом свете, ответил на сложные вопросы, разъяснил диковины, загадки в нашем быту; он поставил меня на ноги, обтесал, отшлифовал, изготовил из меня законченное изделие. Короче, он указал мне дорогу и открыл секрет, как стать человечком».

Тут чтение опять прерывается. Входит жена рав-

вина и, не переставая говорить, останавливается перед мужем.

— Это не под силу выдержать, — говорит она, как бы немного сердясь, — полон дом, не сглазить бы. Все спрашивают: где раввин? Раввин, говорю, теперь занят. Никакие отговорки не помогают, всем нужно к раввину! И кого только там нет? Те двое, что вчера приходили на разбирательство, — тут! Банщик — тут! Кричит: если город не починит баню, он больше топить не будет, и где тогда возьмутся деньги на содержание раввина. Мясники опять здесь — принесли потроха на проверку! Этот — сборщик подающей в память Меера-чудотворца¹, этот — из ешибота², тот — от погорельцев, тут же брошенная с тремя младенцами, — все, все тут! Не помогают никакие уговоры; к ним должен выйти сам раввин. Я даже показываться им больше не хочу.

Раввин поднимается с места и, извинившись, просит собравшихся подождать его немного.

— А, реб Менделе! Что у вас хорошего? — обращается ко мне жена раввина после того, как муж ее вышел из комнаты. — Давненько вас, реб Менделе, не было. Привезли ли вы и для нас, женщин, какие-нибудь новые душеспасительные книги?

— Для женщин — книги?! — усмехнулся один из богачей, тот, что с перекошенной кисло-сладкой физиономией.

— Мужчины полагают, что только ради них сле-

¹ Меер-чудотворец — один из законоучителей талмуда, живший во II веке нашей эры. В честь его памяти в религиозных еврейских домах были специальные кружки, куда бросали мелкие монеты для благотворительных целей.

² Ешибот — высшая еврейская религиозная школа.

писал мужчина. Конечно, вы мудрецы, раз вы, мужчины, властвуете и держите женщин, бедняжек, в своих руках! Сильнейший всегда и умен и прав. Как говорится: сколько смерть косит людей, а все же правота за ней. Но шутки в сторону. Спрашиваю вас: как вы объясните мне то, что мы знаем и видим своими глазами. Попробуйте опровергнуть! Разве мало мудрых женщин, пророчиц было у нас, евреев, когда-то в давние времена, и разве мало у нас, в наши времена, женщин умных, деловитых, стоящих гораздо выше иных мужчин? Мне кажется, что даже в нашем городе можно насчитать много женщин, уму и деловитости которых мужья обязаны всем — и почетом и богатством. Ничего бы путного из них не вышло, если бы не их жены. И тем не менее, приходится ли решать дело, касающееся общины, иное ли важное дело, выступают вперед именно те хозяева, которые на большее, чем, прошу прощения, держаться за женин подол, не способны. Женщины не ставят ни во что, всему указчики — мужчины. Всюду мужчины, на собраниях — мужчины, в синагоге — мужчины, даже в баню, простите, и то закликают: мужчины, милости просим в баню!..

— Вы что-то сегодня, раввинша, очень взволнованы, — произносит все тот же богач, — в вас, похоже, говорит досада; вы, видимо, чем-то расстроены, вот и изливаете свой гнев на бедных мужчин!

— Что делать? — отвечает раввинша со вздохом, идущим из самой глубины сердца. — Когда речь заходит о нас, женщинах, и я задумываюсь о нашей тяжелой, горестной участи, во мне закипает кровь.

— Возьмите, пожалуйста, — улучив минуту, я подаю раввинше книгу жалобных молений, которую на-

дует печатать книги, — отзывается с обидой раввинша, — все ради них. У женщин нет души, они не люди, и ничего на свете им не нужно. Достаточно с них того, что они живут, беременеют, рожают детей, растят их, стряпают обеды, ухаживают за своими мужьями и сохнут от забот.

— Слава всевышнему, что привелось нам свидеться в добром здоровье, — отвечаю я, — не бойтесь: я про вас не забыл. Я привез вам новехонький молитвенник для женщин. Видите, уважаемая раввинша, вы напрасно обвиняете мужчин. Мы, право, помним о вас. Подойдите, пожалуйста, полюбуйте молитвами, которые понаделаны для вас. Чего вам еще надо? Мне кажется, вполне достаточно, больше чем достаточно понаделали для вас, женщин!.. Но не в этом суть.

— Ай-ай, раввинша! — подхватывает один из богачей со сладкой улыбкой. — Вы хотите, ей-богу, восстановить жен против нас! Послушав вас, жены задерут нос, начнут требовать разных новинок и еще, чего доброго, захотят развестись с нами! Но раз уж пришлось к разговору, я вас спрашиваю, раввинша, скажите мне, дай вам бог здоровья, почему все-таки Соломон мудрый написал, что среди тысячи женщин он не видел ни одной достойной?

— Потому он ее и не видел, — нашла раввинша, — что имел, простите, тысячу жен. У мужчин, которые хотят иметь много жен, не может быть ни одной достойной. Признайтесь, разве вы на их месте были бы лучше?

— Почему же, — вмешался в разговор еще один, — написано в наших книгах, что вся мудрость женщины заключена в веретено?

— А потому, — отвечает раввинша, — что это на-

шупал и вытащил из моего узла, — я знаю, вот эта жалобная молитва для вас хороша. Для вас, раввинша, эта молитва, право, очень хороша...

— Правда, правда, реб Менделе! — Раввинша покачала головой. — Книга жалобных излианий — единственное лекарство для нас, бедных женщин, для наших израненных сердец; это единственная возможность иногда выплакаться, излить свое горькое сердце в горячих потоках слез... Ведь это же такая боль, такая обида, что мужчины не понимают и не хотят сочувствовать нам; они насмеяются, высмеивают слезные молитвы женщин, не видят, что это наше единственное лекарство. Загляни они когда-нибудь в женскую синагогу, в субботу или в праздник, они увидели бы там множество несчастных женщин, которые еле вырвались из дому: этой досталась черная доля с мужем, та, горемычная, мужем брошена, у одной тяжелая беременность, другая удручена хилостью грудного младенца, который ночами ей спать не дает и изводит бедняжку, эта — с отеками, обожженными за бесконечной стряпней руками, та — с исхудалым озабоченным лицом от тяжелой панцины, от вечного ярма. Все они, скорбные, пришибленные, стоят, бедняжки, вокруг чтицы, рыдают, плачут, подняв глаза к милосердному отцу небесному, умываются горькими слезами, всю душу в слезах изливают. Если бы вы, мужчины, увидели это своими собственными глазами, право, вы не посмели бы открыть рот, чтобы подтрунивать над жалобными молитвами женщин... Благодарю вас, реб Менделе! Спасибо, что не забыли меня. Я сейчас же пришлю вам стоимость этой книги. — Этими словами, обращенными ко мне, раввинша закончила разговор и тихо вышла.

24

Все мужчины в комнате притихли, словно язык у них отнялся. Речи раввинши погрузили и меня в мрачное раздумье. Я сидел, грустный, в уголке и вспоминал ее слова. Они были пропитаны острым горьким чувством, которое щемило мне сердце тем больше, чем больше я размышлял о них. У меня было такое ощущение, словно на моих глазах вскрыли живого человека, вынули теплое, еще трепещущее сердце и разрезали, пытаясь увидеть, что там внутри творится. Признаюсь, впервые в жизни довелось мне всерьез задуматься над печальным уделом женщин, понять и пожалеть их. Нечто подобное, кажется мне, должен испытывать каждый гуманный, образованный человек, когда он вдумывается в положение евреев, оценивает их по достоинству и сожалеет о муках, которые они, беспомощные, терпят от народов мира — сильных своих хозяев...

Собравшиеся в комнате приходят в движение и отвлекают меня от моих мыслей.

— Что вы так вздыхаете, реб Хоне? — произносит один из богачей и сам издает нечто похожее на вздох.

— Так, пустое, реб Бериш, — говорит реб Хоне, поморщившись, — не знаю, право, чего хочет от нас Ицхок-Авром своей историей. Тут попадают такие слова, которые вообще ему не к лицу. Что скажете, реб Бериш, по поводу его колкостей? Вы же догадываетесь, куда они метят? Кто знает, сколько еще продлится это чтение, а у меня сегодня совсем нет времени, — сижу как на иголках.

— И я тоже сижу как на иголках, — отвечает реб Бериш, — насколько я могу догадаться, реб Хоне, — фу, фу! Такого я от Ицхок-Аврома не ждал! Он был, кажется, не глупым человеком и понимал дело... Быть

Ицхок-Аврома. Братство только сейчас счастливо срядилось по поводу уплаты за его погребение. Обе стороны немного упирались, упрямылись. Но правда была на стороне братства, и оно добилось своего. Чем же братству еще поживиться, если не таким жирным покойником? Жаль, право, рабби, что вы читали, а я ничего не слышал. Ах, ах, такая история, право, слаще меда! Я вчера просто наслаждался, слушая ее из ваших праведных уст. Конец, должно быть, совсем чудо из чудес. Жаль, право, что я немного опоздал, ах!

— Конечно, реб Файвуш, — отвечает раввин, усаживаясь на стул, — конечно, мы тут без вас довольно много прочитали, но ничего, еще осталось. Сейчас мы примемся за чтение и дочитаем все до самого конца.

Раввин не стал мешкать и начал читать далее:

— «Исер был по натуре замкнутый, скрытный человек, никогда нельзя было хоть сколько-нибудь догадаться, о чем он думает и как надо держаться с ним. Он не говорил того, что думал, и думал не то, что говорил. Жена и та ничего не знала о его делах: он всегда держался отчужденно от нее и детей. Все в доме ему повиновались, — он мало говорил, никого подолгу не убеждал, все должно было исполняться по первому его слову, без промедления, в ту же минуту. Его лицо во всякое время и при любых обстоятельствах выражало неизменно одно и то же: оно всегда было серьезно и как будто задумчиво. Никто никогда не слышал, чтобы он громко смеялся. Редко-редко на его сжатых губах появлялось какое-то подобие улыбки,

может, правильнее будет, если мы сейчас уйдем. Ведь мы занятые люди. Право же, послушайте меня, давайте уйдем.

— Избави боже, избави боже! — откликаются несколько богачей, — это будет означать, что мы сочли себя уязвленными. Наоборот, надо сидеть и выслушать все до конца. Самое верное сделать вид, что нас это не касается.

Реб Хоне снова вздыхает, а реб Бериш прикрывает рукою нос и ворчит про себя, как человек, который чем-то очень недоволен.

— Добрый день, добрый день! — весело и развязно произносит, войдя в комнату, реб Файвуш. Лицо его багрово, как у человека, который малость налился. — Я был занят и никак не мог вырваться сюда раньше. В чем дело? — добавляет он, взглянув на богачей. — Чем вы так расстроены?

— А что случилось такого, реб Файвуш, что вы так веселы? — спрашивают в ответ богачи, словно не догадываясь, что он изрядно хлебнул со своими друзьями из погребального братства.

— Тут уже, по-видимому, все прочитали без меня, — говорит реб Файвуш, — жаль, право, что я не слышал. Это, должно быть, очень интересно.

— Всей вашей жизни такой бы интерес, — под нос себе ворчит реб Бериш.

— Не огорчайтесь, реб Файвуш, и для вас, думается, еще достаточно осталось, — утешает его с горькой усмешечкой тот, что с перекошенной кисло-сладкой физиономией.

— Добрый день, рабби! — торжественно обращается реб Файвуш к раввину, подошедшему к столу, — простите, рабби, что опоздал. До сих пор мотался из-за

ки, но эта кислая улыбка представляла собой не более чем едва заметное движение в уголке рта; на всем же лице не было даже и намек на улыбку; оно оставалось холодным как лед, а глаза — стеклянными, как и прежде.

Но был у Исера добрый друг, к которому он был привязан всей душой. С ним он разговаривал без тени притворства. С ним любил он проводить время за стаканом вина и подолгу беседовать. С ним Исер будто весь менялся и становился совсем непохож на себя. Перед ним ворота сердца Исера были распахнуты настежь, и этот добрый друг мог туда в любое время свободно войти, проникнуть во все тайны Исера. А что говорить, когда Исер бывал малость под хмельком, тогда он и вовсе обнажал свою душу и становился до конца откровенен — что на уме, то на языке. Обычно он забирался со своим другом к себе в комнату; там они уединялись, беседовали, и Исер изливал перед ним свое сердце. Но для меня все это не было секретом. Я уже давно пристрастился стоять за дверью и подслушивать все, о чем говорят.

Я хочу передать вам отрывки из разговоров Исера со своим другом, которые мне довелось подслушать. Это хоть немного объяснит вам жизненные установки Исера, его взгляды, которые я полностью перенял.

— Послушай-ка, братец! — заговорил однажды Исер Варгер, придя со своим другом малость навеселе и уединившись с ним в своей комнате, — послушай-ка, глупец ты этакий! Уверю тебя, такого милого, такого доброго народа, как евреи, не найти на всем белом свете. Поистине прекрасный народ, золотой, честное слово! Из него можно вышибить копейку...

— Скажи уж лучше, Исер,— глупый народ, таких дураков, как евреи, не найти на всем белом свете!

— Ты прав, друг мой! Что правда, то и впрямь правда. Такого милого, такого доброго, такого полезного, такого золотого, такого глупого народа, как наши божьи избранники, вовсе нету, нету, нету!

— С чего это ты, Исер, пустился восхвалять паству израилеву? Хватит болтовни! Расскажи лучше, чем окончилось сегодняшнее собрание?

— Какое собрание? Что ты болтаешь, друг мой!

— Развяжи язык, Исер! Что с тобой, забыл ты, что ли, о сегодняшнем сходбище касательно мяса?

— Ты сам не знаешь, что лопочешь, дурень этакий! Тоже нашел важное событие — сходбище! Подумаешь, оно имело такое же значение, принесло такие же плоды, как и все другие их собрания!.. Тебе бы там быть и полюбоваться на эту красоту.

Я вошел туда и застал суматоху. Народ жужжал, жужжал — страх! — точно мухи! Я поразмыслил: к чему разводить церемонии с этим сборищем идиотов, и, недолго думая, громко проговорил, ни к кому не обращаясь: «Зачем шуметь? Что страшного, если мясо будет дороже на несколько грошей? Не такое уж несчастье! Поверьте мне, евреи, гораздо хуже, если откупщик сборов рассердится и, не дай бог, совсем откажется! Верьте мне, евреи, это так!» Ты думаешь, я знал, что говорю? Что нужно именно так, а не иначе? Ни-ни! А посмотрел бы ты, как несколько уважаемых хозяев, опытные люди, слышавшие умницами, напустили на себя серьезность, ухватились за бородки и с глупой ужимкой откликнулись: «И вправду так, не о чем спорить, это так, несомненно так...» Все собравшиеся не нашли, что возразить, восприняли это как само

бость, свою никчемность, свое бессилие, неумение осуществить свои желания, взять все, чего им хочется. Они чувствуют, что нет у них ни когтей, ни зубов, чтобы драться и победить, вот они, эти овцы, и выдумали слово «жалость», вооружились им, чтобы кричать, поучать, молить о жалости, строить жалостливые мины, и надеются этим чего-нибудь добиться... Но это плутовство, братец, чистое плутовство! Ничего, нам понятно их притворство. Нам понятны эти правоучения, понятны и любители читать правоучения... Я уже, братец, тертый калач, и кое-что, слава богу, смыслю в устройстве этого мира, хоть и не великий знаток талмуда. Да и нет особой нужды в учености — чтобы знать жизнь, достаточно, право, иметь немного здравого смысла, трезвый рассудок, и тогда уже нетрудно уразуметь, в чем сущность этого мира. Он делится на два лагеря: сильных и слабых, волков — хищников и овец — честной скотинки; первые сдирают, а вторые отдают свою шкуру. Иначе быть не может. Измени этот порядок, и все равно получится то же самое. Пусть слабый, к примеру, войдет в силу, о-го-го! Он всплывет наверх, станет барином, а его руки начнут грабастать. Пусть овечка обретет когти и зубы, как она тут же станет царапать, рвать, пускать в ход клыки, сдирать с других шкуру. Попробуй, к примеру, кому-нибудь из этих вечно взывающих к жалости неудачников и любителей читать правоучения дать какую-нибудь должность в общине. Едва только он окажется у власти, ощутит в себе силу и поймет, что в его руках кнут, как начнет стегать им, жесткой рукой будет властвовать. Возьми самого жалкого человека и дай ему откуп — он начнет делать то же самое, измываться

с собой разумеющееся, как решенное дело, и остались стоять проглотив язык. Пусть бы отдали себе отчет, самих себя спросили: почему это так? Только один, отъявленный плут, редкостный мошенник, на которого я уже давно имею зуб, все не хотел поддаваться, все твердил: «Не такое уж несчастье, пожалуйста, пожалуйста... Подумаешь, откупщик сборов! От бога он, что ли? Ничего, можно прожить на свете и без откупщика». Но умницы, опытные хозяева, понимающие дело, смотрели на него, как на мальчишку, как на малосведущего человека, с которым и считаться нечего; его и словом не удостоили. Тем не менее, слышишь, этого наглеца я хочу проучить. Тебе придется, друг мой, написать на него донос, подложить ему перцу под хвост, чтобы его нажгло, хорошенько нажгло... Ты ведь знаешь, у меня на это рука тяжеловата...

— Это потом, Исер, все будет, надо думать, как полагается... Я сгораю от нетерпения: хочется узнать, чем же кончилось сегодняшнее сходбище.

— Чего ты не понимаешь, дурень? Разве сыщется еще где-нибудь такой добрый, золотой народ, как евреи? Во всем уступили, набавили еще несколько грошей, даже больше, чем мы сами того желали, и разошлись, очень довольные. А уж я, дурень ты этакий, тем более доволен...

— Конечно, Исер, ты можешь быть доволен, но...

— Что «но»? Дурень ты этакий! Что «но»? «Но жалко!» — хочешь ты, быть может, сказать? А? Жалко целого города бедняков! Не совался бы ты уж лучше, дурачок, со своим глупым пустым словом «жалость»! Жалость, говорю тебе, выдумали только слабые, неудачники, овцы, чувствующие свою сла-

над народом, грызть его, рвать в клочья, высасывать из людей последние соки. Есть поговорка: «Не дай бог из Ивана пана!» Очень верная, правдивая поговорка. Сойти с ума, рехнуться надо «пану», прежде чем своему Ивану передать кнут. Оставайся с твоим жалостливым личиком, ты, чистая святая душа, ты, невинная овечка, читай правоучения, брани, кричи сколько твоей душе угодно. Твои когти и зубы, появись они у тебя, причинили бы, право же, в тысячу раз больше зла!

— Избави боже, Исер, что тебе на ум взбрело? У меня и мысли не было о жалости. Вот еще, жалость! Я имел в виду нечто совсем другое. Ты, Исер, говорю, может быть, конечно, доволен, я — не против. Но мне что с того?

— Так бы ты, глупец, и сказал!.. Вот так! Ты, значит, тоже хочешь быть доволен? Ступай же, пожалуйста, будь любезен, ко всем чертям туда... Засунь свою лапу, тогда и тебе достанется лизнуть меда. Ты не хвор, право же, и сам можешь твердо стоять на свои собственные ноги. Ничего, черт тебя не возьмет. Завтра, братец, начнется великое множество новых общественных затей и придется, понимаешь ли, кое-что людям вдолбить...

Как-то в другой раз, когда Исер сидел за стаканом вина и в прекрасном расположении духа беседовал со своим приятелем, у него развязался язык, и он заговорил так:

— Ты очень хорошо поступил, дурень этакий, что сегодня пришел ко мне. У меня голова распухла от мыслей, я ношусь с ними, как корова с полным выменем, во мне урчит, бурлит, и я не могу больше сдерживаться. Мне иногда необходимо хоть втихо-

молку излить сердце. Столько видеть, столько слышать — и всегда молчать, носить все в себе — свыше человеческих сил. Не будь у меня, черт побери, так туга рука к письму, я разошелся бы когда-нибудь и написал на бумаге прекрасную комедию, право... Распробуй-ка вино, братец! А? Что ты про него скажешь? Это я сегодня получил в подарок за одно дельце.

— Очень хорошее вино, Исер... За дельце, говоришь? За какое такое дельце?

— Так, пустое дельце! Какой-то суд у Барана. Этот глупец Баран давно просил меня оказать ему услугу в этом деле, будто я имею влияние в суде. Глупцы в нашем городе полагают, что все зависит от меня. Стоит мне захотеть, и я могу помочь. Если несколько писарьков иногда в субботу угощаются у меня рыбой, потому что они подышают по еврейской рыбе, наши глупцы поверили, что я со всеми там от мала до велика за панибрата. О-о-о, не шутите, с самим прокурором — на короткой ноге, с полицмейстером — душа в душу, прямо-таки родные братья! Все зависит от меня. Пусть будет так, дуралей ты мой! Пусть они, глупцы, верят в это и приходят ко мне молить об услуге. У меня для них всегда один ответ: посмотрим, увидим! Я говорю это, понимаешь ли, рассуждая так: если он выиграет, значит, я, Исер, кого надо повидал и получу за это недурной куш, хотя видеть я видел кого-нибудь так же, как вижу собственные уши. Если же тот в проигрыше, и тут ничего не убывает ни от моего достоинства, ни от моей силы. Тот размышляет так: я проиграл потому, что реб Исер не захотел помочь; если бы реб Исер и в самом деле захотел приложить старание, я, несомненно,

о тебе, о твоих дураках и обо всех твоих махинациях... Лехаим!¹

— Подавись, остолоп! Махинации, говоришь, махинации! Почему ты называешь это махинациями? Разве все дела, все сделки, весь этот тарарам сверху донизу не махинации? Я говорю тебе: все дела! Все! Даже царствие небесное — туда же. Понял? А на чем держатся все торговые дела: как они начинаются, как ведутся и чем кончаются? Уж не думаешь ли ты, что они правдой держатся? Нет, братец! Правда — это не больше чем словечко такое, которое каждый понимает по-своему, на свой манер и как ему удобней, выгодней для дела. Взаправдашней правды нет и быть не может. Для нашей торговли она совсем неподходящий товар: она принесла бы ущерб нашим делам. Тысячи контор, тысячи лавок, тысячи других подобных предприятий, которые ты теперь видишь у нас, разлетелись бы вдребезги, от них не осталось бы помину, следа бы не осталось. Многие наши богачи пошли бы по миру. Один бог знает, что еще могло произойти... Но ты, может, думаешь, что все держится трудом? Если так, ты осел! Трудится ремесленник, дровосек, водовоз, грузчик и им подобные. Трудом ты много не заработаешь, — хоть надорвись на работе, все равно будешь десять раз в день подыхать с голоду. Попробуй займись, к примеру, работой какого-нибудь Барана, — будешь трудиться, обливаться потом, умаешься, мотаясь, испишешь до оснований пальцы и в конечном счете, если тебя даже и постигнет удача, надолго ли хватит заработка? Будешь перебиваться с

¹ Л е х а и м ! — За жизни! Будем здоровы! (евр.)

выиграл бы. Ну и что же? Он на меня будет в обиде, — так пусть во сне явится меня душить, пусть кусает собственный локоть! Однако своей славы «всесильного» я не теряю. Пустое, он посердится-посердится и опять придет ко мне с поклоном, а я и на этот раз ему опять-таки отвечу: посмотрим, увидим! Понял, братец? Барану я тоже так ответил: увидим! И в порядке совета намекнул, что надо сунуть тому, другому, понял? Там, где нужно... Я очень хорошо видел, что мои старания ему помогут, как мертвому припарки. Баран, этот идиот, был вполне уверен, что я усердствую, что я просил моего патрона последить за этим делом. Сегодня днем на улице — стоило бы тебе посмотреть — Баран и его жена в присутствии большой толпы бросились ко мне с великой радостью и ликованием, со слезами на глазах. «Реб Исер, отец родной, благодетель! Сначала надо благодарить бога, а потом — вас, спаситель наш, за дело, которое мы сегодня выиграли. Если бы вы, реб Исер, не вмешались в это дело, нам никогда бы не выпутаться. Мы говорим и будем говорить это перед всем миром: только реб Исер, один только реб Исер! Понял я из этого, что помог тут, собственно, мой намек, — Баран, очевидно, хорошо подмазал, кого надо, как следует выполнил мое указание. Посмотрел бы ты, братец, какую гримасу я состроил, когда они меня благодарили. Лицо мое выражало: ах, сколько жизни и здоровья стоило мне ваше дело! Сколько труда я положил, пока своего добился! Немного позднее Баран прислал мне домой некую мзду и несколько бутылок хорошего вина в придачу. Ну, дуралей мой, а? Какого ты мнения об этом вине?

— Дай бог, Исер, чтобы все были такого мнения

хлеба на квас! Если же, упаси бог, удачи не будет, пропал весь твой труд, и ко всему вдобавок станешь в глазах у всех посмешищем, никудышным, ни на что не способным, ни аза не смыслящим человеком. И будешь сидеть на гнилой рыбе и вонючей селедке... Не морщ, братец, лоб! Я не философию развожу перед тобой, а говорю простые, ясные слова. Философия тоже ни к черту не годится. Мало хорошего в том, что слишком мудрено, мир этого не любит, остерегается пуше огня, и, конечно, он прав. Великие умники, ученые люди ходят в рваных сапогах с отлетевшими подошвами. Гораздо лучше живется на свете маленькому человечку. Вовсе нет нужды быть кому-нибудь полезным, быть большим мудрецом, искусным в работе. Главное, что необходимо, это — иметь роток на шарнирах, который вертелся бы, когда нужно, куда угодно; язычок без костей, который кидался бы туда-сюда, лизнул этого, лизнул того; спину, способную, при надобности, согнуться, скрючиться в три погибели... Значит, скажешь ты, скорчив при этом святую рожу, — надо льстить, лицемерить, лгать! Ну и что ж, — пусть так, что поделаешь? Необходимы деньги, без денег ты и вовсе пустое место, в тысячу раз меньше самого маленького человечка, — и мал и ничтожен. А что такое на свете, братец, бедняк? Ты, по-моему, и вообразить не можешь, как богачи ненавидят бедняка! Они вроде иногда и разговаривают с ним, иногда якобы жалеют его, на самом же деле терпеть его не могут; он торчит у них бельмом на глазу, и они думают: «Зачем только мотается это существо на белом свете?» В их представлении он — наваждение, горб, дикий нарост; при одном взгляде на него им становится не по

себе. Богачам все мерещится, что он посягает на их жизнь,— на их мощну; что он тянется за их душой,— за их деньгами. И слов у меня таких нет, чтобы в полной мере высказать это. Раз ты бедняк, братец, ты умер для мира. Твои прежние друзья, если они богаты, держатся от тебя подальше. А если они иногда и наносят тебе визит, то только чтобы показать себя. Так новоявленная богачка нет-нет да съездит иногда в маленький городишко на могилы предков, навестить покойника отца, бедняка, и нарядится при этом в жемчуга, бриллианты,— пусть в полное свое удовольствие любитесь ею бедное маленькое местечко. В пятикнижии или в Песне песней, кажется, сказано, что бедняк подобен покойнику. Понимать это надо так: бедняк попахивает кладбищенской травой... В деньгах, братец, заключена вся мудрость, в них — все и вся... Есть у тебя деньги — тебе принадлежит и царство земное, и царствие небесное. Но в наши дни добывать деньги означает — как и во все времена — быть человеком, а быть человеком означает,— пусть даже так, как ты, братец, говоришь,— льстить, лицемерить, быть способным на всякую мерзость... Лехаим, друг мой!

— За наше здоровье, Исер, и пусть никогда не переведутся бараны! Ну, Исер, а твой богач, чьей душой ты утвердился, что он собой представляет?

— А вот о нем, братец, я говорить не хочу. Понимаешь? Не хочу о нем говорить. С тех пор как я его арендовал, не хочу о нем говорить.

— Как так, Исер, арендовал? Вот те новость! Как это понимать — ты арендуешь своего богача? Что он, мельница, черт побери, или корчма, что ты его арендуешь?

116

не следует с ним церемониться! Не оглядывайся на него и прислушивайся к его словам не более, чем к надоедливому жужжанию мухи... Далее ты должен знать, что умный должен пользоваться всем на свете. Понял? А теперь я это с тобой повторю еще один раз. Возьми же в руки рюмку и говори за мной, да с верой, дурень, говори: все держится на силе. Богач и его деньги — это великая на свете сила, а умный человек должен всем на свете пользоваться; значит, надо уметь извлечь из богача пользу. Ты думаешь, просто грубо брать у него деньги, одни лишь деньги? Нет! Надо суметь поставить возле него ветряную мельницу, пусть он своей дикой силой вращает ее колеса,— пусть мельница мелет! Или надо быть возле него чем-то вроде комедианта у балагана, или цыганом при медведе. Отмерил ты мне, мельнику, полную мерку твоей ржи, тогда и мели себе на здоровье на моей мельнице! Уплатил ты мне, комедианту, за билет, так иди в мой балаган и смотри прекрасные представления! Дал ты мне, цыгану, несколько грошей, и я прикажу моему медведю плясать перед тобой! Понял? Я заарендовал моего богача, заарендовал! Ты хочешь попасть к богачу, к моему ветряку,— давай же мне «мерку», я — арендатор! Хочешь, чтобы перед тобой разыграли комедию, чтобы тебе в «поддержку» давали представления,— уплати мне сначала за билет: я — комедиант! Или тебе, быть может, хочется, чтобы мой богач стал перед тобой на задние лапы, рычал, распластывался и усердствовал ради тебя,— гони монету, дай мне, будь любезен, что мне заблагорассудится назначить: — я цыган!.. Понял наконец, дуралей? Ну, на сегодня хватит науки!.. Лехаим, друг!

118

— Какая разница, глупец? Разве это меняет дело: богач, мельница, корчма, черт, дьявол, да мало ли еще что? Все едино, только бы аренда!.. Эге-ге, братец! Ты же чистый меламаед, то есть дурак, недо-тепа: все на свете тебе нужно растолковывать. Ну, лехаим! Выпей же, братец, еще рюмку... Теперь я попробую как-нибудь разъяснить тебе. Это будет трудновато, но ничего, мозги у тебя не высохли,— поймешь! А начать начнем-таки с мельницы.

Ветер или вода — это большая сила на свете. И приходит слабый человек, который хочет ею воспользоваться, воздвигает строение с колесами, с камнями и делает так, чтобы вода или ветер вращали колеса. Колеса, в свою очередь, приводят в движение камни, и мельница мелет. Понял? Пойдем же, дурачок, далее. Значит, перво-наперво — сила, на ней держится мир со всеми его причиндалами. Богач, как тебе известно, тоже большая сила на свете. Перед богачом все робеют, все его обожают; все из кожи лезут вон. Перед богатым снимают шапку даже те, которым от него ничего не перепадает, которым не было от него пользы раньше, нет пользы теперь и не будет пользы потом, которым не доведется от него поживиться даже глотком воды; но они это делают просто потому, что богачу полагается воздавать почести, даже без всякой корысти, просто потому, что богачу полагается все. А я, Исер, говорю: нет! Главное, что надо ценить в богаче, это его деньги, то есть ту пользу, которую можно извлечь из его денег. Понял? Его деньги — это номер один, а сам он — номер ноль, то есть ничто. Такой богач, говорю, который тебе ничем не полезен, должен быть для тебя пустым местом. А раз не он самое главное — ко всем чертям,

117

— Лехаим, Исер, за твою ветряную мельницу! Лехаим, лехаим, за твою комедию и за твоего медведя! За то, чтобы твои колеса вращались, твой театр имел успех, а твой медведь плясал, плясал, плясал!..

17

Разумеется, мысли Исера, его взгляд на мир были для меня вначале непостижимы, смысл многих слов темен, всю его науку мне трудно было раскусить. Но слова о том, что иметь деньги означает быть человеком, а быть человеком означает — льстить, лицемерить, лгать,— это я воспринял сразу же. Тут-то я и постиг подлинный секрет. Но что такое льстить и лицемерить, я тогда еще не вполне понимал.

Должен здесь заметить, что я тогда еще вообще толком не различал, что можно, а чего нельзя. Грехом у меня считалось глядеть на когенов¹ во время богослужения; не совершать обряда капорес²; не ходить к ташлих³; стричь свои ногти подряд без пропусков, не прикладывать к остриженным ногтям

¹ Коген — якобы потомок жрецов. В праздники во время синагогальной службы благословляет прихожан.

² Капорес — религиозный обряд, имевший символический характер. В канун Судного дня набожный еврей вертел вокруг головы птицей, произнося слова молитвы: «Пусть будет она моим искуплением и пойдет на смерть, а я приобрету долгую счастливую жизнь». Испугательную птицу резали и употребляли в пищу.

³ Ташлих — религиозный обряд. В день Нового года верующие евреи собирались у реки, произносили библейские стихи и отряхивали края своей одежды, что символизировало очищение от грехов.

119

25

трех маленьких щепок, срезанных со стола в синагоге, чтобы они на том свете были твоими праведными свидетелями; не верить в существование обладателя тайного слова; не верить в беса; не верить, что в главной синагоге молятся по ночам покойники; не верить в мир хаоса, то есть не верить, что среди нас, здесь, на этом свете, мечется множество людей, которые, кажется, торгуют, обделывают дела, разъезжают по ярмаркам, покупают, продают — суетятся! — а на самом же деле они мертвецы, покойники, обитатели мира хаоса; не верить, что к безлюдовскому ребу являлись на суд покойники в сопровождении ангела дознания и команды ангелов истязателей; не верить, что «он», мир праху его, знал тайну «кратчайшего пути» — махнуть в небо было для «него» раз плюнуть, что «он» был там в почете, что «его» руке были доверены ключи от детей, снега и дождя; не верить в переселение душ, то есть не верить, что люди могут превратиться в скотов, зверей и птиц, что известный богач, как о том написано, превратился когда-то в свинью; некий ловкач, не про нас будь сказано, — в осла, а еще один, какой-то крупный подрядчик, — в птицу, которая, не про евреев будь сказано, многим насвистала; а какой-то «гласный» превратился, бедняга, в рыбу, с «голосом», точно у линия... Короче говоря, не верить в подобного рода вещи почиталось у меня грехом. Но льстить, лицемерить, быть человеком — в моем списке грехов не числилось. Значит, что тут особенного, почему бы мне не быть человеком? Становишься богатым и счастливым, а ведь это хорошо. Человека не смеют бить, колотить; ведь когда бьют, почему-то бывает так больно! Ведь темнеет в глазах, когда портной или его

няют мне дикую боль, муки; люди злобствуют и семь шкур с меня спускают!.. Я был оглушен, пришиблен, заморожен. К тому еще надо помнить, что родился я в Безлюдове, который был по сути дела маленьким местечком, а местечковый человек остается местечковым человеком. Местечковые люди — это какая-то совсем иная порода людей, с иными чувствами; они иные на вкус, от них иной аромат, они иначе шевелят мозгами — ни богу свечка, ни черту кочерга, ни рыба ни мясо, какие-то ни на кого не похожие твари... Я говорю все это затем, чтобы вас не особенно удивляло: как могло случиться, что такой недоумок, такой дурак, как я, все же иногда верно схватывал и толково размышлял. Правда, глуп я действительно был и глупостью своей бросался каждому в глаза, но был я таким не от природы, а просто заморожен, пришиблен и прибит. У меня не то что не хватало клепки в голове, эта клепка просто еще не была обработана, обстругана. Таков я был. Поэтому я еще мог кое-чему научиться, кое о чем догадаться, и поэтому-то я оказался способным воспринять науку реб Исера Варгера.

У Исера Варгера я прослужил много лет. В течение этого времени я обтесался и научился делать все, что должен уметь делать человек; я был весьма старателен и прилежен. Я уже умел, используя свое положение, обделывать всякие дела, корчить из себя святую простоту, прибегать к хитрости и коварству. Самое большое удовольствие доставляло мне подложить кому-нибудь свинью, словно я искал мести, хотя никакого повода для нее не было. Подложить свинью, а потом вывернуться так, что не придерешься, — это само по себе доставляло мне

жена закатывают тебе затрещину. А что уж говорить, когда кантор принимается так драть тебя за уши, что можно забыть все на свете, даже поминальные дни усопших родителей. А растянуться на полу, чтобы надеть или снять с кого-нибудь галоши, когда тот, упершись в бока, разглядывает потолок, тоже, право, занятие не из сладких. И мне, конечно, хотелось стать человеком, избавиться единым разом от всех горестей и жить, как все они, счастливо, в богатстве и почете. Поэтому-то я всегда с великим усердием подслушивал за дверью, когда Исер Варгер беседовал со своим приятелем. Наслушался я много, а потом стал хорошо понимать и смысл его речей. Со временем я стал куда лучше понимать Исера, чем меламада в талмудторе.

Правда, в юности я и в самом деле был весьма придурковат, но, как позднее выяснилось, я не был глуп от природы. Меня таким сделали. Всегда, с самого детства, я был загнан, заброшен и забит. Меня взрастили проклятиями, сквернословием, поркой, тумаками, побоями. Кому только не лень было, тот высыпал мне, пересчитывал мои худые ребрышки. Как говорится: «От покаянного бития в грудь не прибавишься в теле ничуть»; «Кто многожды был бит, тот становится прибит». Шутка ли сказать, сколько мое тело, мое исхудалое, изможденное тело, приняло мук! Терплю, бывало, голод, холод, чувствую — кончаются мои силы, ноет каждая косточка, и так мне плохо! — а вместо того чтобы сказать: жаль, бедное дитя угасает, человеческое существо, или пусть даже просто божья тварь, тает, точно свеча, он уже — кожа да кости! — люди злобствуют и рвут на части мое жалкое, тщедушное тело; люди злобствуют и причи-



такое же наслаждение, как бедному ешиботнику¹ сделанное им открытие в талмуде. Даст это плоды, не даст ли? — неважно, была бы только удачна сама мысль, свидетельствовала бы она о гибкости ума!.. Чувства справедливости, жалости не успели во мне и зародиться.

«Справедливость — это резинка, которая дает себя растягивать сколько угодно, она «как глина в руках творца»: человек может ее повертывать и так и этак, делать из нее все, что отвечает его желанию. Жалость — это выдуманное слово, сплошное плутовство. Если ты слабее меня, если ты неудачник, никчемный человек, ты стараешься убедить меня, что якобы существует жалость!» — так сказал Исер Варгер.

Я был преданным учеником Исера, старался, усердствовал, только бы мой учитель был доволен мной. Я делал все в его вкусе, по его нраву, и добился таким образом его благорасположения и благосклонности, он никому не уступил бы меня, как говорится, за мешок ботвы.

Став старше, я все чаще начал задумываться и самого себя спрашивать: «Когда же я буду работать для дома своего?» — то есть когда наконец я начну что-нибудь делать, чтобы самому стать на ноги? «А я вошел в пору свою» — я был уже, слава богу, молодой человек с заметными признаками бородки! Правда, науку Исера я уже постиг досконально, знал ее во всех тонкостях, но «не в толковании суть, — говаривал, бывало, мой меламед в талмуд-торе, вся штука не в науке, главное дело — пороть».

¹ Ешиботник — слушатель ешибота.

Я все думал, думал до тех пор, пока меня не осенило: ах, дурак ты этакый, сказал я себе, мой учитель Исер Варгер говорит: «Умный человек должен всем на свете пользоваться. Богача нужно снять в аренду, играть с ним комедию, на нем и зашибить копеечку». Так ведь Исер Варгер уже и сам богач, возьми же его, глупец, в аренду, стань, осел, арендатором Исера, душою Исера! Исер уже сам — сила, вот и поставь возле него ветряк, и пусть Исер вращает твои колеса! Жареные голуби сами летят к тебе в рот, а ты, осел, ешь просишь!..

Не буду вам долго толковать! Я начал Исеру льстить, нашел тысячи путей подобраться к нему, пока не влез в самое сердце, утвердился в нем и стал, в добрый час, душою Исера!.. Ведь Исер тоже был простой смертный; он тоже любил, чтобы ему льстили, поддакивали, чтобы на него дивились, любовались; тем более, что он очень хорошо знал истинную суть и подлинную цену лести. Сам он, к примеру, говоря кому-нибудь: ведь вы умница, добряк, щедрый жертвовател, благочестивый, праведный, честный человек, — всегда думал обратное: ведь вы глупец, бессердечный человек, скряга, ханжа, вориюга, жулик! Так уж, видимо, ведется на свете: каждый готов дать себя уговорить, каждый не прочь самообольщаться... Не думайте только, что мне это далось легко. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много времени прошло, прежде чем мне удалось оказаться в чести у Исера. Вам покажется, может, непостижимым: слуга, да чтобы оказался в чести? Вы уж на меня не обижайтесь: не знаете вы света! Почти всякий слуга — в чести и почти любой, кто в чести, — слуга...

И когда мир заметил, что я в чести, что я стал душою Исера, его почитаемым слугой, ко мне начали ластиться, с уважением мне кланяться, как ведется на белом свете и как, очевидно, повелось с первых дней творения и в верхах и в низах. Так уж принято в мире: когда нужно чего-нибудь от барина, то прежде всего подбираются к его любимому слуге, стараются во что бы то ни стало понравиться ему — пуститься с ним в какой-нибудь разговор, ублажить сладкими речами, прикинуться закадычным другом, в то же время незаметно сунуть что-нибудь в руку, думая про себя: заткнем ему рот, пусть не ворчит, не мешает, не тявкает. Или иначе: пусть барину мимоходом проронит на ухо доброе слово. Слуга, если он твой ходатай, может иногда немало помочь. Слуга может добиться у своего владыки того, чего не добьются подчас сановные особы, — слуга знает сердце своего владыки и умеет ублажить его такими вещами, о которых нельзя распространяться... Если у кого-нибудь было дело к Исеру, — а у кого только не было дел к Исеру? — тот прежде всего занскаивал передо мной, старался расположить меня к себе, только бы я попросил за него, замолвил словечко, помянул добром в разговоре с реб Исером. Что уж говорить о деньгах и дарах, — одними молитвами, конечно, не обходилось. Проситель верил: стоит ему добиться, чтобы я замолвил за него словечко перед реб Исером, и его ждет удача, хотя я-то прекрасно знал, что усилия Исера ему столько же помогут, сколько, по словам самого Исера, «мертвому припарки». Но что мне было за дело? Пусть он думает, что хочет, только бы раскошелился. Тогда же, когда у Исера была надобность помочь, он делал свое дело

вовсе без моего ходатайства. Как бы то ни было, так или иначе, Исер ведь все равно возьмет деньги и будет, по своему обыкновению, твердить: «Посмотрим, увидим, посмотрим!» К чему же, спросите, я тут путался? А почему бы и нет? Жалко, что ли? Пусть думают про себя что хотят и раскошелливаются.

Таким образом я начал понемногу возвышаться, изрядно раздобрел и сколотил недурное состояние.

18

Наряжаться, франтить стало самым большим моим удовольствием — черта всех преуспевающих слуг, любящих напаять на себя все, что только можно, увешивать себя поблескивающими цепочками, пуговицами, носить перстни, сапожки, начищенные до зеркального блеска, только бы бросаться всем в глаза, только бы все поражались и дивились. По субботам я, обычно одетый с иголочки, прохаживался со своими приятелями, чтобы показать себя миру во всем великолепии, а заодно присмотреться к прогуливающимся стайками девушкам и женщинам. Я знал в городе почти всех слуганок. Мне были известны случаи, разные истории о многих женщинах, в том числе и моих знакомых.

В одну из суббот гулял я с друзьями по городу в час, когда улицы были запружены девушками в шелковых и бархатных нарядах, увешанных жемчугами и всякими иными драгоценностями, и мне навстречу попала девушка, одетая в простое ситцевое платье безупречной чистоты. Лицо ее светилось, точно утренняя звезда, затмевая всех других с их жемчугами и

128

забора, лежал на земле какой-то человек. Когда я подбежал к нему с узлом, он даже не шевельнулся. Пока все это происходило, кругом стало темно: черная туча застлала небо. Не мешкая, приподнимаю я голову человека и пытаюсь привести его в чувство. Вдруг засверкали яркие и частые молнии, вспышка за вспышкой, и я увидел перед собой широко открытые жгучие глаза. Меня точно ударило в сердце, голова закружилась, и я остался стоять в растерянности. Я узнал ее, — это была она!

Она рассказала, что шла одна по переулку, вдруг подскочил какой-то субъект и, сильно ударив ее по руке, быстро выхватил узел с полотном, который она, белошвейка, несла от заказчика. Не подспей я и не отними узел у вора, сказала она со слезами на глазах, — лишиться бы ей куска хлеба и потерять доброе имя среди людей, никто бы ей больше не дал работы. Она благодарила меня от всего сердца; лицо девушки горело румянцем и каждый взгляд огненных глаз меня обжигал, опалял. Я чувствовал, что сердце мое вот-вот растает, точно воск.

— Награди вас бог! — проговорила она дрожащим голосом, собираясь продолжать свой путь.

— Нет, нет! — воскликнул я горячо, — ни за что не пушу вас дальше одну, я провожу вас до дому.

Она замаялась, — было видно, что ей неловко так поздно идти с посторонним молодым человеком. Но я не дал девушке и слова произнести, быстро взял узел и пошел вместе с ней переулками к ее дому. Всю дорогу мы не произнесли почти ни слова. Я только то и дело взглядывал на нее и дрожал как в лихорадке. Когда она прикасалась ко мне рукой, желая забрать узел, чтобы не утруждать меня ношей, по моему телу про-

130

бриллиантами, они перед ней были не более, чем свеча перед солнцем. Рядом с девушкой шел молодой человек, статный, рослый. Ее красота ослепила меня, и я некоторое время стоял ошеломленный, не видя и не слыша, что вокруг меня творится. Когда я немного позже пришел в себя и огляделся, ее уже не было. Она смешалась с толпой и исчезла, точно звезда, пролетевшая летней ночью по небу. Но ее облик глубоко запечатлелся в моем сердце. И с той поры она ни на миг не выходила у меня из головы. Передо мной неизменно вырисовывалось ее лицо, ее стан, и ночью, в темноте, мерцали, светились жгучие глаза, словно две светлые звезды в черной бездне далеких-далеких небес. Мне все казалось, что я давно знаю ее, казалось, что я уже видел ее однажды, но когда и где, никак не мог припомнить. Упорные, но безуспешные попытки что-либо вспомнить — это такая мука, которой сочувствовать может лишь тот, кто испытал нечто подобное. Меня это терзало, сверлило голову, почти сводило с ума. И я дал себе слово непременно дознаться, кто эта девушка, и выяснить, где она живет.

Однажды в вечерний час я проходил по какому-то глухому переулку. Края чистого синего неба затянуло черной тучей, время от времени там змеились огненные вспышки молний. В переулке было тихо, безлюдно. Я был в мрачном настроении и шел глубоко задумавшись. Вдруг я услышал истошный крик, пронзивший мне сердце. Гляжу — навстречу бежит человек с узлом в руках, бежит быстро-быстро, точно вор, стремящийся улизнуть. «Стой!» — крикнул я, решительно встав на пути субъекта, и поднял мою толстую трость. Тот перепугался, выпустил из рук узел, а сам свернул куда-то и быстро исчез. Поодаль от меня, у

9 Менделе Мойхер-Сфорим

129

бегал озноб, кровь останавливалась в жилах, захватывало дыхание. Так мы оба шли, пока не оказались у дома, где на калитке висела маленькая белая вывеска. Черными буквами на ней было выведено: «Здесь живет белошвейка Голда Якобзон».

— Якобзон! — воскликнул я в изумлении, вспомнив о Якобзоне, который когда-то кормил меня два дня рош-гашоно после истории с кантором и выручил, когда я был брошен на произвол судьбы.

— Да, — подтвердила она, — я и есть Голда Якобзон. Почему это вас так удивляет?

— Мы с вашим отцом очень давно знакомы, — ответил я, — он мне когда-то помог в трудное время.

— Уже несколько лет, как мой отец умер, — проговорила она с глубоким вздохом.

— Вас я помню еще совсем маленькой девочкой, — с улыбкой сказал я и как старый знакомый уже смелее заглянул ей в лицо.

— Вот как! Очень приятно, право!

Мы не успели попрощаться, как раздался сильный удар грома и начался страшный ливень, затопивший все кругом. Она предложила зайти в дом, чтобы переждать грозу. Разумеется, я с радостью согласился и был очень благодарен ливню. По мне, пусть бы начался потоп и длился без конца, лишь бы остаться с ней вместе в этом доме, как в новом ковчеге.

Дом, куда я вошел, состоял из одной комнаты, разделенной посередине ширмой. Одна половина комнаты служила спальней, другая — гостиной. С первого взгляда можно было легко заметить, что тут живут люди бедные, но не ленивые, не опустившиеся. Здесь стояло несколько старых стульев, маленькая кушетка, обитая желтоватым выцветшим ситцем. У стены стоял

131

комод, покрытый белоснежной скатертью и уставленный различными безделушками: тут пара маленьких фарфоровых чашечек с красными цветочками, две синие граненые рюмки, черепаховая шкатулка, зеркальце, маленькие флаконы из-под духов и иные подобные мелочи, составлявшие все убранство комнаты. Сюда еще можно прибавить несколько горшков с цветами на подоконниках и вышитый шелком портрет пророка Моисея со скрижалями в руках. У окна находился стол, заваленный полотном, мотками ниток и другими принадлежностями швейного ремесла.

Войдя в дом, Голда представила меня своей матери, худой, хилой женщине лет пятидесяти, рассказав ей кратко историю нашей встречи в переулке. Мать радушно меня приняла и пригласила сесть. На табурете у края стола примостилась маленькая девочка лет восьми; она притворялась, будто шьет, и время от времени искоса украдкой поглядывала на меня лукавыми глазенками. Голда тоже села за стол и развязала принесенный узел. Я не произносил ни слова и сидел точно жених. На сердце у меня было радостно, я следил, как двигаются в работе белые пухлые ручки Голды, и испытывал какое-то необычайное наслаждение.

Несколько минут мы молчали, потом зашел разговор о погоде, о том, как необходим этот дождь. Старушка раз десять повторила, что это не дождь льет, а хлеб идет, выразила надежду, что после дождя мука станет дешевле на несколько грошей. Голда переглянулась с матерью и вышла. Старушка сидела рядом со мной и без конца говорила. Вспомнила мужа, как он, да будет ему светло в раю, долгое время хворал; как они истратили все до последнего гро-

132

головке, — тебе пора спать, ты лучше пораньше встанешь. Твой учитель уже сегодня не придет.

Шейнделе поцеловала мать, сестру, пожелала всем доброй ночи и ушла спать. Настало время и мне уходить. Я поднялся со стула, попрощался и ушел.

Месяц сиял и, точно золотое суденышко, плыл по огромному синему воздушному морю, тихий покой которого не нарушал ни малейший ветерок. Небо тысячами светлых звезд, как влюбленный жених, глядело вниз на любимую землю, одетую в зеленое платье трав, украшенное множеством дивных цветов, источавших сладкий, нежный, опьяняющий аромат. Лягушки весело квакали в речушках, и в каком-то саду заливался соловей — единственное создание в мире, затмевающее всех канторов!.. Пелось почему-то и мне.

Я шел, напевал и сам не слышал, что напеваю. Но уже подойдя близко к дому, словно очнувшись, услышал я напев портного Лейзера — провожание невесты. «Ах, провались ты сквозь землю, портняжка!» — бранил я в шутку Лейзера и с веселой усмешкой послал его ко всем чертям...

Скажите на милость! После такой радостной встречи мне всю ночь только и снились какие-то печальные сцены: то меня оплакивают, заливаясь слезами, то человеческие вопли несутся из преисподней: «Пошадите! За что нам такая участь?..»

19

В доме Голды я стал частым гостем, — и меня точно магнитом тянуло туда. Меня влекли к девушке не ее достоинства, не ее благонравие, не то, что она так праведно зарабатывает свой хлеб и содержит старушку

ша, как он умер и оставил ее, горькую вдову, с двумя детьми без средств. Но бог, благодарение ему, подарил ей дочь, подобной в мире не сыскать. Голда добра, чиста, все достоинства в ней. Она трудится, бедняжка, и днем и ночью, вяжет, сплетет над шитьем ради своего скудного заработка. Живется тяжело, нужда одолевает, горького заработка Голды едва-едва хватает на самое необходимое, но, грех жаловаться, ведь как-никак, а все же живется. Один бог знает, что с ними стало бы, если б не Голда.

— Конечно, я должна радоваться, считать себя счастливой, что всевышний подарил мне такую дочь, но сердце мое плачет, — проговорила она с глубоким вздохом, и слезы выступили у нее на глазах, — ой, как болит мое сердце, когда гляжу, как Голда работает на всех нас до седьмого пота, портит здоровье, укорачивает свою жизнь, а на себя не расходует ни гроша, себе во всем отказывает. Сколько я иногда ни молю: Голда, душенька, пожалей ты себя, купи что-нибудь себе в усладу, дай себе немного отдыха, душенька. А она все смеется: не нужно мне никакой услады, меня, избави боже, не мутит. Пусть услаждают себя те, что сидят сложа руки и сами не знают, чего им не хватает. А чтобы отдохнуть, есть у нас долгий субботний день. Так она мне всегда отвечает поговоркой, шуткой и делает свое дело спокойно, благородно, как тихая голубка, на мою бы голову все зло, предназначенное ей!..

При этих словах вошла Голда и поставила на стол поднос с четырьмя стаканами чаю.

Пока мы пили чай, прекратился дождь. Голда велела своей сестричке идти спать.

— Поди, Шейнделе, — сказала она, погладив ее по

133

мать и сестренку. Нет! Ученик Исера не мог оценить такие вещи. Деньги — вот та мера, которой я измерял человеческие достоинства, те весы, на которых я взвешивал все виды человеческого благонравия. Молодчиной, умницей — человеком я считал того, кто имел деньги и жил в довольстве. Как он их получил и за чей счет жил, значения не имело. В эти мелочи вникают только бедняки, неудачники из чувства зависти и досады, а еще чтобы очернить другого и тем самым загладить свои собственные недостатки, являющиеся причиной того, что они неудачники, никчемные люди. Этим они хоть немного утешали свое сердце, пытались оправдаться перед миром, твердя, что их бедность якобы плод мягкого характера, плод того, что они не умеют, как другие, быть лживыми, низкими людьми. Нет! Не благородство, не душевные достоинства Голды нравились мне, мне нравилось только ее красивое лицо, меня влекло к ней низменное плотское чувство. Чего я добивался этой своей любовью, мне тогда еще самому не было ясно, — пока я посещал Голду. Сначала я дал ей заказ — шить мне сорочки, манишки, потом приходил уже без всякого предлога, просто как хороший знакомый.

Бывая у Голды, я каждый раз заставал у нее в доме молодого человека, которого видел с ней, когда в ту субботу впервые встретил девушку. Он вел себя в их доме запросто, как родственник, как член семьи, занимался с маленькой Шейндл, помогал по дому, иногда приносил что-нибудь с базара и поддерживал семью при особенно стесненных денежных обстоятельствах. Никто в доме не обращался к нему на «вы», все звали его просто по имени — Михл.

Михл занимался тем, что обучал мальчиков и дево-

135

чек письму, на эти заработки он и жил. Однажды из разговора со старушкой я узнал, что Михл часто им помогает, что он прямо-таки опора их семьи, без него им приходилось бы иногда очень туго. Он ее родственник и почти жених Голды. Для всех это пока секрет, но пройдет еще немного времени, надеется она, бог даст, состоится помолвка, и будут бить горшки. Слова старушки меня оглушили, но я сделал вид, что меня это совершенно не касается.

С тех пор я относился к Михлу как к врагу, стоящему на моем пути, и все думал, как его устранить. С кошачьей нежностью ластился я к Голде, к ее матери, старался обворожить их милыми сладкими речами, играл с маленькой Шейнделе, приносил ей то конфетку, то игрушку — в надежде завоевать таким образом их сердца и вытеснить Михла, убрать его с пути. Однажды, заметив, что они в стесненном положении, я даже попытался дать им денег, но Голда велела взять их обратно с какой-то такой усмешкой, которая поставила меня на место и была гораздо хуже пощечины. Это в тысячу раз усилило мою ненависть к Михлу: она горела во мне пламенем; но чем сильнее я ненавидел его, тем больше скрывал это, говорил с ним приторно сладко, с неизменно веселым лицом. Притворяться я уже умел в ту пору отлично, — это первое, что обязан уметь человек. Когда Исер решал кого-нибудь угробить, он принимал его очень дружелюбно, радостно спешил ему навстречу, лобызал его в самые губы, нес ему смерть в поцелуе, то есть поцелуем вынимал из него душу и таким образом выбирал для милого друга, по словам некоего мудреца, красивую смерть, тихую смерть, чтобы ни одна собака не завывала... Так сказал Исер Варгер!

136

горевшись ярким румянцем, глядела на них влажными, жгучими, полными счастья глазами. В ту минуту лицо ее сияло и ослепляло меня, точно солнце; так красива она была! Я тоже изображал на лице радость, как близкий человек, которому доставляет удовольствие, когда в доме веселье. Но в душе у меня пылал ад. Уйдя оттуда, я скрежетал зубами и поклялся, что найду, и немедля, верное средство расчистить себе путь к Голде.

Прошло немного времени, и это средство подвернулось. Когда в нашем городе был рекрутский набор, я через Исера без шума обделал дело — и Михла забрали в рекруты!..

Придя к Голде, я застал всех в глубокой скорби, точно в день девятого аба. Старушка лежала в кровати, больная, обессиленная, на голове ее был платок, смоченный холодной водой. Голда, мертвенно-бледная, с растрепанными волосами и красными опухшими глазами, хлопотала возле матери, поникшая, озабоченная, пришибленная. Вовсе не узнать было маленькую Шейнделе, так изменилась она: понуро сидела в уголке, сложа ручки и уставившись глазами в пол. Когда я вошел, они, не говоря ни слова, расплакались, залились горячими слезами, как обездоленные люди при виде своего лучшего друга.

— Что случилось? — простодушно спросил я и остановился, якобы потрясенный.

Несколько минут никто не отвечал, потом старушка плачущим голосом, давась слезами, еле выговорила: — Горе, горе мне! Михл... Нет Михла!.. Схватили, горе мне, забрали Михла!

Она снова разразилась потоком слез. Голда сидела возле нее на кровати, закрыв лицо руками. Больная

Я приходил к Голде расфранченный, сильно напомаженный, чтобы этим поправиться ей и унижить в ее глазах убого одетого Михла. Но одежда не производила на Голду никакого впечатления. Однажды она деликатно намекнула мне, что запах разогретой на голове помады может вызвать у собеседника насморк. Михл при этом улыбнулся; у меня же внутри все хлопотало, я пылал враждой к нему. Шейнделе однажды заявила:

— Фу, Михл, как ты выглядишь! Вот реб Ицхок-Авремл прямо-таки сияет: он разодет, причесан, у него красные щечки и пунцовые губки, точно у красивой девушки.

— Глупенькая! — довольно спокойно ответил ей Михл. — Что же мне делать, если я беден и нет у меня такой службы, которая покрывала бы любые расходы.

Мне показалось, что в словах Михла скрывается колкость, упрек в том, что я слуга, желание унижить меня. Но я проглотил обиду, закусил губу и не ответил ни единым резким словом.

Между тем прошло все лето и большая часть осени. Я из кожи лез вон ради своей большой любви, но ничего не мог добиться. Михл сидел у меня костью в горле. Я видел, что, если не поспешу вырвать эту кость, то подавлюсь ею. Дело шло к тому, что Михл должен был вот-вот стать женихом Голды. Старушка любила его, как родное дитя, и жаждала дожить до того дня, который навеки свяжет его с дочерью. Она несколько раз заводила разговор о необходимых приготовлениях, и все в доме радовались. Шейнделе весело прыгала, шалила, дразнила Михла, потом, обняв обеими ручонками, вешалась ему на шею. Голда, за-

137

мать гладила ее по голове, и все рыдали, точно оплакивали покойника. Я придавал лицу грустное выражение, притворно вздыхал, стонал, а сердцу моему было так отрадно: на моем пути к Голде теперь никто уже не стоит. Я пожирал ее глазами, оглядывал с ног до головы. Так волк глядит на ягненка, оскалив хищную пасть. И думал я про себя: «Ничего, будешь моей, из моих лап ты уже не выскользнешь!..»

20

Несколько месяцев минуло после этой сцены. Михла забрали и увезли далеко — туда, откуда не скоро возвращаются. В доме Голды царил запустение, все там скорбело и утратило свой прежний вид, цветы в горшочках засохли: их вовремя не поливали, всем было не до них. Безделушки на комод не были, как прежде, со вкусом расставлены, на портрете пророка Моисея лежал толстый слой пыли. Он выглядел как-то мрачно и смотрел сквозь стекло, словно гневался. Так по крайней мере казалось мне, и я избегал глядеть на него... Шейнделе перестала учиться, не с кем было ей больше играть. Она худела, таяла, как свеча, неузнаваема стала. Голду задавило горе: на лице не появлялось и тени улыбки, как будто жизнь ей стала не мила. Старушка смотрела на своих детей, качала головой и умывалась слезами. Она все хирела, пока наконец болезнь не свалила ее в кровать.

Я все чаще посещал их дом, сидел, пока Голда работала, подбадривал ее ласковыми, сладкими речами, говорил слова утешения и тем самым старался все глубже и глубже проникнуть в ее сердце. Позднее я

139

обратил внимание на царившую в доме горькую нужду. Зарботки Голды были так малы, что, как она ни надрывалась, сколько ни билась, они не могли покрыть все жизненные потребности семьи. Только теперь стало видно, как недоставало им Михла, как он был нужен этим бедным людям, как не хватало им теперь его отцом. К тому же еще было мало работы, и однажды, когда понадобилось купить лекарство для старушки, в доме не оказалось ни гроша. Я решился и предложил Голде взять у меня немного денег. Голда покраснела, опустила глаза и ни слова не ответила. Было видно, какая буря горьких чувств бушевала в ее сердце. Я убедил Голду, что даю ей эти деньги взаимы, что она обязана принять их ради больной матери, нуждающейся в лекарстве, от которого, возможно, зависит ее жизнь. Старушка в это время сильно застонала. Голда затрепетала, дрожащей ледяной рукой взяла у меня деньги, накинула на себя шаль и быстро выбежала из дому.

Однажды поздней ночью лежал я в кровати у себя в каморке и не мог глаз сомкнуть; сон меня не брал. Любовь к Голде невыносимо мучила, не давала покоя, и я принялся размышлять о том, что из всего этого выйдет. До каких же пор мне страдать? Надо довести дело до конца. Однако каким образом? Жениться? Но мне это невыгодно по многим причинам: во-первых, я буду вынужден оставить службу у Исера, а уйти от Исера означает ни много ни мало — отказаться от легкого заработка, от счастливой жизни без мук, без труда, без забот, отказаться от всех моих надежд на будущее; во-вторых, что принесет мне Голда? Ничего! Она гола и нага, в чем мать родила, она наплодит мне множество детей, голышей, которые заморочат

140

образом не мог забросить. Я размышлял, размышлял и приходил все к тому же — исход один, жениться! Но ведь это может помешать мне в моих делах? Что ж, тогда придется изыскать какой-нибудь фортель, найти какое-нибудь решение, которое и так и этак было бы мне на руку. Жениться надо, и чем скорее, тем лучше: больше мучиться у меня уже нет сил. Надо кончать с этим делом. Голда должна быть моей!.. С этой мыслью я уснул и видел приятные, сладкие сны.

Встал я поздно и решил про себя — что бы ни случилось, обязательно сегодня же вечером объясниться с Голдой. Было это как раз накануне пасхи, и Голде, стесненной в средствах, не на что было готовиться к празднику. Для моей затеи это была самая подходящая пора. Придя к Голде, я застал ее одну за работой. Старушка лежала в кровати за ширмой, а Шейндл сидела возле нее. Оттуда доносился кашель, — кашляли и мать и дочурка: то поочередно, то обе разом, они словно состязались, кто из них сильнее кашляет. К тому же еще пел сверчок, и вместе у них получался какой-то дикий, страшный концерт. Голда была озабочена, все работала — водила иглой, ни на миг не позволяла себе оторваться от работы.

Я начал с упреков. Я укорял Голду за то, что она работает через силу, тратит здоровье, не жалеет себя, не жалеет друзей, которые очень дорожат ее здоровьем и готовы жизнь отдать за нее. При этих словах Голда взглянула на меня, и было в этом взгляде что-то такое, что трудно передать. Я заговорил еще сердечнее, чем дальше, тем с большей горячностью, и наконец разразился тирадой, что люблю ее больше жизни, что я счел бы себя величайшим счастливецом,

мне голову: мы проедем все деньги, и я останусь нищим, никчемным, ни на что не годным человеком, буду мучиться, почернею от забот, как это было со мной когда-то в юности. И ради чего? Ради любви!.. Исер, думал я, несомненно поднял бы меня на смех.

«Любовь — это не больше чем смазливое личико, мыльный пузырь, пленяющий глаз переливающимися радужными красками, который внезапно лопается и исчезает. Это игрушка, пустяк, который нужно приобрести за пустяк, и можно легко купить его за пустяк, только бы не быть глупцом. Любовь — это покров, которым легче привлечь к себе другого на некоторое время, искусно выделанная сеть, чтобы ловить в нее слабеньких людишек, тающих словно снег, едва их слегка обдадут теплом...» Так сказал Исер Варгер.

Значит, не быть глупцом и достигнуть моей цели простейшим способом?.. Однако это совершенно несбыточно. Насколько я знал Голду, об этом нечего было и думать. Она как-то всегда умела держаться так, что внушала к себе уважение и язык не поворачивался произнести при ней нехорошее слово. Однажды у меня вырвалось не очень благопристойное словечко, которому другие, может быть, и не придали бы особого значения; она же сделала такую мину, что я оробел и холод пробежал по всему моему телу. Нет! Такие, как Голда, не дают себя ни купить, ни заманить, будь ты даже хитер, как десять чертей. Что же делать? Плюнуть и забыть ее? Это было, как я чувствовал, свыше моих сил; я скорее отказался бы от своей жизни, чем от нее. Пусть любовь и в самом деле, как говорит Исер, не более чем игрушка, но эту игрушку я ником

141

если бы она вышла за меня замуж. Из рук Голды выпала игла; она осталась сидеть, растерянная, уронив голову на руки. Я на несколько минут замолчал; меня прошиб пот, а сердце билось так сильно, точно я перевалил через высокую гору.

Хрип и кашель за ширмой становились все сильнее и сильнее. Разбитое стекло в окне уныло дребезжало под ударами ветра в так кашлю. Я опять разверз уста, говорил с жаром, все уговаривал, убеждал Голду. Расписывал, какие тяжелые у нее теперь сложились обстоятельства, как они давят ее со всех сторон, напомнил, как страдают, мучаются ее хилая мать и Шейнделе. Ради них одних она обязана так поступить. У меня ведь им всем, бог даст, будет хорошо; мы будем жить в довольстве и счастье на радость богу и людям. Голда пылливо заглядывала мне в лицо, и горячие слезы крупными; как жемчужины, каплями катились из ее глаз.

— Оставьте меня в покое на некоторое время, — обратилась она ко мне голосом, полным мольбы, как человек, попавший в западню, — я немного подумаю, посоветуюсь с мамой и дам вам окончательный ответ.

Когда я на завтра пришел к Голде, я застал ее сидящей за ширмой возле больной матери. Старушка взяла меня за руку и, кивнув головой на Голду, сказала, что согласна вручить мне свой дорогой бриллиант, свое сокровище, дивный дар самого всевышнего, только бы я дорожил ее дочерью, ценил. При этом она поставила условие, чтобы я отказался от своей должности, — как бы ни был я уважаем, я все же только слуга; а отдать Голду за слугу не делает чести ей и ее мужу, отцу Голды, мир праху его, не делает чести всей их семье. Я возражал против этого, доказы-

143

вал, как это нехорошо, неумно — отказаться от такой доходной должности, благодаря которой я могу со временем стать человеком в полном смысле слова, видным человеком.

— Очень много знатных людей, право,— сказал я с важностью,— лежат иногда у моих ног, завидуют мне, а будет время, даст бог, они станут мне завидовать еще больше. Ничего! Я уже сейчас знатен не менее, чем все они. Но как бы то ни было, отказаться теперь от места — нелепость, просто великий грех. В любом случае куда вернее, чтобы я и после свадьбы оставался у Исера. В чем дело? Допустим, я — лавочник и сижу целыми днями в лавке, или я — купец и всю неделю разъезжаю. Свободное время, а также субботу и праздники я буду проводить у себя дома. Пока должно быть так, а там что бог даст... Вероятно, все уладится... Но если вас коробит, что я слуга, если вам неприятно перед людьми, мы устроим свадьбу тихо, без помпы, без шума, без треска, прекрасно обойдемся без всей этой знати. Да и о ком тут, собственно, может быть разговор!..

Кончилось тем, что мои доводы были приняты, и мы ударили по рукам.

— Смотри же, береги мой бриллиант, уважай мою дочь, цени ее золотое сердце! — снова повторила старушка и расплакалась.

Голда и Шейндл тоже плакали навзрыд, а я был на седьмом небе от радости, что удалось гладко обстряпать это дело, так, как мне и хотелось.

В праздник лаг-боймер¹, в погожий день, мы с

¹ Лаг-боймер — тридцать третий день после второго дня пасхи; считается полупраздником у религиозных евреев.

чистоганом. Мы вели свою игру и оба были довольны. У меня появилась страсть к деньгам. Сколько бы я ни зарабатывал, мне все было мало, я дрожал над каждой копеечкой.

Дом свой содержал я очень скромно. Я старался экономить, скупился как только мог и очень сердился, когда тратили лишний грош. Старушка дулась и иногда говорила, что я готов считать крупу в горшке и жалею о каждом проглоченном куске. В отместку дулся и я, отвечал ей колкостями, вроде того, что всякий щедр на чужое; если бы меня, мол, даром кормили, так и быть, я тоже не был бы скрягой. Голду все эти разговоры изводили, она менялась в лице, и не раз из-за этого между нами происходили размолвки. Одна из стычек зашла так далеко, что я непристойно обругал Голду, грубо оскорбил ее, бранил так, как умеет только слуга, в бешенстве выбежал из комнаты, сильно хлопнув дверью, и с неделю не возвращался домой.

Моя прежняя горячая любовь остывала чем дальше, тем больше. Красивое лицо Голды стало для меня обыденным, я в нем уже ничего особенного не видел, — лицо как лицо, с носом, с глазами. Голда потеряла для меня свою прелесть, — просто женщина, как и всякая иная. В душе я уже жалел о своей женитьбе. К чему мне было, размышляя я, надеть на себя такое тяжелое ярмо, — целую семью, которая объедает меня, разоряет. Какое-то злое наваждение нашло на меня, что я поддался чарам красивого личика, дал себя опутать и потратил на это столько денег! Где был тогда мой рассудок, мой разум? Я диву давался: как я оказался способным на такую глупость? Я все прикидывал про себя, во сколько мне обошлась моя глупость и насколько был бы я сейчас богаче, если бы не совершил ее.

Голдой вместе с матерью и Шейндл поехали в близкую деревушку и там в присутствии десятка евреев справили тихую свадьбу.

Первое время после свадьбы наша жизнь с Голдой текла как нельзя лучше. Все в доме были довольны и рады. Я, как и прежде, служил у Исера, цепко держался за него и действовал в своих интересах с большим азартом, с гораздо большим, чем раньше. Меня ни на миг не покидала мысль, что я женат и мне нужны деньги. Я прилежно повторял в голове «приемы человечка» со всеми комментариями реб Исера к ним, приемы, обогащенные моими собственными коррективами, необычайно хитроумными плодами высокой изощренности ума, которые я, как пылкий ученый, внес в это дело. Пусть весь белый свет отныне чувствует, какой я дотошный человек, какого полета я птица, что я за штучка, пусть он хорошенько так почувствует, что у меня есть жена, что у меня большие потребности и мне многое нужно, пусть дает деньги и покрывает мои расходы. «Ничего, это миру по силам, черт его не возьмет!» — так решил я про себя и взвинтил цены на все мои затеи, которые я принялся выполнять с величайшим прилежанием.

Богач Исера, этот крупный медведь, плясал в главном представлении Исера, а сам Исер, как медвежонок, плясал в моей второстепенной комедии, и у нас обоих было обширное хозяйство. Глупая публика по всякому поводу шла к нам просить, чтобы мы похлопотали, чтобы мы помогли, и всюю расплачивалась

И все это меня так расстраивало, что я постоянно раздраженно ворчал, глядел на всех в доме косо, с мрачным видом, и никому доброго слова не говорил. В течение нескольких лет Голда немало натерпелась от меня, я жестоко ее допекал, но она все кротко переносила, тихо плакала, ни единым звуком не выдавала свою боль.

И должно же было случиться, что большой богач, великий и могущественный, чьей душой являлся Исер, ни с того ни с сего скорострительно скончался, и ветряк стал — колеса больше не вертелись!.. Со смертью этого богача его душа — мой реб Исер — потерял свое прибежище, а раз Исер уже не был чьей-то душой, то я и подавно, — все рассыпалось в пух и прах. Народ понемножку осматрелся, стал сдержанней, а со временем и вовсе перестал обращаться с просьбами к Исеру. К тому еще на Исера ощутимо надвинулась старость, он как-то выдохся, оскудел рассудком, — не тот облик, не тот разум, не та мудрость, что были некогда. Ну, а раз Исер утратил свой авторитет, то, разумеется, и я потерял всякое значение, я был больше не нужен, как упрямая монета. Правда, у Исера я все еще был в чести, не потерял цены в его глазах; но раз я больше не мог извлекать из него пользу — какого черта он мне был нужен? И я прислушивался к его словам не более, чем к «надоедливому жужжанию мухи». Так сказал Исер Варгер! Подлинные его слова. От него самого я их и воспринял. Я не долго размышляя, отступился от Исера, который в моих глазах был уже падалью.

Дохлая тварь не производит на человека такое тяжелое, такое грустное впечатление, как тварь, которая как бы «дохлая», но все еще имеет какие-то при-

знаки жизни. Говорю это по поводу себя и еще многих существ, таких, как потерявший свое положение откупщик сборов, ходатай, от услуг которого отказались, отстраненный от плутней воротила, отрешенный от синагоги служка и всякие иные оскверненные, отвергнутые общинные деятели. Что ж, труп — это по крайней мере труп: он не живет и ему ничего не нужно; но те людишки, те твари, лишаясь опоры и теряя доход, от которого в течение многих лет зависело их благополучие, становятся необычными трупами, живыми, трепещущими трупами, трупами, которые хотят есть, пить, хлебнуть хмельного, им решительно все нужно! Но что же им делать, когда они совершенно беспомощны, когда они, не про вас будь сказано, увечные горемыки, у них есть, казалось бы, и рот, и руки, и ноги, а ни на что они не годны!..

Сердце, право, разрывается, когда глядишь на эти живые трупы, на эти жалкие, прошу прощения, протухшие существа.

Таким существом был и я, когда покинул Исера. Я не знал, что делать, за что взяться, — я ничего не умел и ни к чему не был пригоден, я был только человек. Мое положение было тогда очень скверное. Я жил за счет накопленного: разменяю целковый, и проедаю его. Каждый целковый, что, бывало, разменяю, я отрывал от себя, как кусок живого мяса, что-то словно отмирало во мне. Я был постоянно зол, никому в доме не давал покоя, к каждому придирался. За каждый грош, что давал Голде на расходы, я жилы из нее выматывал, попрекал: «Чего все от меня хотят? Я не могу содержать такую семью».

Старушке я отравлял жизнь: она извелась от душевных мук и опасно заболела. Видно было, ей

148

одни-одинешеньки, сироты без отца-матери, без родного, без заступника... Я спокойней уйду со света, спокойней буду лежать в могиле, если ты мне это свято обещаешь и исполнишь свое обещание...

Она снова вздохнула, положила одну руку на голову Голды, другую на голову Шейндл и тихо благословила их; ее голос был едва-едва слышен. Обе дочери затряслись в рыданиях и припали к матери, которая обнимала, целовала, прижимала их к груди. Затем она без сил снова упала на свое ложе, повернулась лицом к стене, захрипела и уснула навеки...

Голда и Шейндл разразились таким горестным плачем, что даже камень был бы растроган. Я закрыл лицо обеими руками и — больно, стыдно, страшно признаться — улыбнулся, довольный, точно сбросил с себя тяжелую ношу.

Старушка была пока еще второй павшей по моей вине жертвой. Немного позднее должна была подойти очередь третьей жертвы — худой, изможденной Шейнделе!..

22

Вскоре я стал тяготиться тем, что сижу сложа руки дома и даю плесневеть милому дару, жившему глубоко во мне, дару быть человеком. Грех, право, чтобы такая страсть гнила напрасно, чтобы пропал такой милый дар, стал лежалым товаром, когда я еще молод, полон сил, могу обделявать блестящие дела и ходить в золоте! Неужели, думал я, свет клином сошелся на Цвухиче? Не стало, что ли, больше городов, заселенных евреями, где я мог бы пустить в оборот

приходит конец, она недолго протянет и, признаюсь, я жаждал ее смерти, сердцу моему было отраднo, что вот-вот избавлюсь от лишнего рта и расходы станут меньше. И я притворился, будто ее болезнь волнует меня до глубины души, что я вне себя от огорчения, я не скупился на врача, на аптеку, а в то же время лелеял мечту — только бы она скорее убралась... Я ходил за ней, как преданный сын, ночами не смыкал глаз, подносил лекарства и думал при этом: «Когда смерть наконец приборет тебя?» Благодаря этой моей «преданности», неутомимому уходу за больной я вырос в мнении домашних и мне простили все муки, что я раньше причинял им. Голда часто гнала меня от постели матери, настаивая, чтобы я шел немного отдохнуть, но не могла этого добиться.

— Отдохни ты, — отвечал я ей, — иди, бедняжка, приляг, ничего, я и один здесь посижу.

Я с ужасом вспоминаю теперь ту зимнюю ночь, когда старушка лежала почти без сознания, с бессмысленным взором, и бредила. В груди у нее страшно хрипело; эти звуки разносились по всему дому, точно визг пилы. Голда, ни жива ни мертва, с покрасневшими заплаканными глазами сидела на стуле возле кровати и ломала руки. Шейнделе, осунувшаяся, похудевшая, изможденная Шейнделе, с потемневшим лицом, глядела на умирающую мать, всхлипывала и закатывалась кашлем. Вдруг старушка села, посмотрела на своих детей и глубоко, от всего сердца, вздохнула.

— Прошу тебя, — обратилась она ко мне слабым голосом после того, как с минуту молча смотрела на меня взглядом, пронизавшим меня насквозь, — прошу тебя, пожалей моих детей! Они остаются, бедняжки,

149

мой товар? Свет, слава богу, велик. Есть еще еврейские города, евреи везде евреи — и по натуре и по характеру. А еврей-воротилы, еврей-богачи, не сглазить бы, имеются и там, хоть отбавляй, и можно будет, вероятно, взять их в аренду и начать с ними ту же игру! К чему мне губить свою жизнь, пропадать без толку дома, пока не проем без остатка все свои денежки, а потом снова терпеть нужду, невзгоды и муки, как когда-то, в те времена, при одном воспоминании о которых дрожь проходит у меня по коже и волосы встают дыбом? Нет, принял я решение, нельзя мне больше здесь отсиживаться! Пока я еще молод, пока у меня еще водится немного денег, я обязан пуститься на поиски удачи, испытать свое счастье.

— Будь здорова! — заявил я в одно прекрасное утро Голде — она была тогда беременна — и отправился куда глаза глядят.

Глупск — прекрасное место, оно мне сразу же понравилось. Это большой еврейский город со множеством глупцов, которые любому охотно дают водить себя за нос. Каждый несет свой нос тебе навстречу, суется с ним вперед, дабы за него за первого ухватились: он считает, что дать водить себя за нос — это долг еврея, это в еврейском духе, иначе оно и быть не может. Глупск — это город с огромным количеством братств, со всякими старостами, со всякими разновидностями божьих прислужников и разными почтенными евреями. И бог прокармливает всех — от рогатых буйволов до гнид, — всем этим существам с почетном ниспосылает их доходы. Короче, Глупск мне пришелся по нраву, он был точно судьбой мне предназначен, был для меня тем, чем является для жабы топкое болото, где она может квакать и вольно дышать.

150

33

151

Было мне тогда года двадцать три — двадцать четыре, а впрочем, кто знает, быть может, — двадцать пять — двадцать шесть или даже двадцать семь лет. Я своих лет не считал, как и многие наши евреи в те времена, не знал, когда я родился, да это и нигде не было записано, потому что так, понимаете ли, было вернее... И кроме всего, к чему это надо было знать? День рождения у меня, как и у иных евреев, — не праздник. Годовщину дня смерти — это еврей помнит, но годовщину дня рождения — к чему? Это даже как-то странно, дико. Деньги у меня были, и поэтому мне легко было познакомиться с видными людьми Глупска. Говорил я всем, что собираюсь здесь затеять какое-нибудь дело, на самом же деле я только присматривал себе аренду, потому что, если не считать аренды, я ни на что не был способен. Все мое усердие было направлено на то, чтобы взять в откуп самого крупного богача и разыгрывать с ним комедию так же, как некогда реб Йсер со своим богачом.

Как вам известно, глупский богач имел большое влияние во всей губернии. Сила была у него нешуточная. И вместе с тем он был простодушный человек — любил заниматься всякими пустяками, хотел знать обо всех происшествиях в городе, был падок на всякие сплетни. А все это было как раз по мне, именно такой, как он, был мне жизненно необходим. С такой силой, какой обладал он, чувствовал я, можно вращать колеса, ворочать миры. Но как, однако, добраться до него? Как прибрать его к рукам? Этого можно добиться, убедился я, не иначе как став истым глупским жителем, став своим человеком среди слуг божьих, связавшись с ними тесными узами. Я начал основательно обмозговывать это дело.

152

Маркл реб Мониш-Лэйбелес. Он был необычайно знатен родом, происходил из старинной фамилии глупского раввина. Всю свою жизнь он палец о палец не ударил, но благодаря своей родовитости всегда прекрасно жил, выдавал замуж и женил всех своих отпрысков. Бог облагодетельствовал его множеством худых, чернявых, некрасивых дочерей, вдобавок ко всем этим достоинствам они были еще и растяпы, но он всех их пристроил, они даже шли, как говорится, парасхват. Крупные богачи, нажившиеся выскочкилакен, неожиданно разбогатевшие человечки неутомимо домогались родства с реб Йейсеф-Маркл реб Мониш-Лэйбелес, чтобы таким образом втереться в знать. Едва какой-нибудь из его дочерей исполнялось четырнадцать — пятнадцать лет, на нее уже отыскивался охотник, спешивший опередить других, вырывал из рук отца эту великую ценность, да еще и раскошелничался, приплачивал ему. Девушка, которую мне сватали, была чернявей и некрасивей всех остальных своих сестер, с бескровным личиком, маленькая, сухая, точно фига, высохшая фига!.. По сравнению с Голдой она выглядела, как обезьяна рядом с человеком. Сват не находил в ней, однако, ни единого недостатка; по его словам, она была полна еврейского обаяния.

— Что такого, — сказал он, — что там такого, если она лицом темновата или еще что-нибудь в этом роде, подумашь, велика важность! Зачем присматриваться к подобным глупостям, и какое значение имеют такие мелочи? Велика ли для человека разница — немного чернее или немного белее? Пустое, все одно, право! Главное — это происхождение... Вот на что надо смотреть. А то, что род, с которым вы свяжетесь, превосходен, это, кажется, может и слепой нащупать.

154

Прошло некоторое время, и чем дальше, тем больше мне открывалось мое будущее поле деятельности. Мне не давали покоя сваты: они вились вокруг меня, точно пчелы. Им нравилось считать меня вдовцом. Откуда они это взяли, я и сам не знаю, для них, очевидно, достаточно было того, что я мужчина и долгое время живу без жены, следовательно, мне необходимо жениться и, значит, я хочу жениться. Иное у них и в мыслях не укладывалось. Поэтому они налетели на меня как саранча, предлагали мне разные партии. Я всегда с улыбкой их выслушивал, а про себя думал: что мне до того, пусть говорят, совсем неплохо, даже приятно говорить о невестах, проводить время в беседах о красивых девушках, а главное, с кем? С набожными евреями, которые, говоря о девушках, с восторгом расписывают и превозносят их красоту, их порядочность, с великой страстью и воодушевлением расхваливают их достоинства... Пусть говорят, думал я, пусть надсаживаются хоть до одурения, кого это трогает?.. Сваты между тем повсюду раззвонили обо мне, своими толками создали мне добрую славу во всем городе: я, мол, очень богат, — денег куры не клюют, знатен родом, умница, удачливый делец, а как поет — заслушаешься, к тому еще хороший человек, с открытым сердцем, добряк и со многими иными золотыми качествами. Недурно, думал я про себя, говорите, говорите, милые люди, вот вам глоток водки и говорите, где только можете!.. Один из сватов напоследок предложил сосватать меня — деньгами, правда, не пахло, но зато там — прославленный знатностью большой аристократ, каких мало на свете.

Великий аристократ, с которым меня хотели породнить, носил четырехэтажное имя — реб Йейсеф-

153

Разумеется, я смеялся над словами свата. Тем не менее мне доставляло удовольствие выслушивать эти разговоры, и дело со сватовством чем дальше, тем глубже проникало в мое сознание. У меня раскрылись глаза, и я увидел, что единственный путь, который приведет к аренде и создаст мое счастье, это именно такое сватовство. Реб Йейсеф-Маркл реб Мониш-Лэйбелес — деятель синагоги, воротила, староста многих братств, пользуется благосклонностью богача, который оказывает ему большой почет, с ним советуются по поводу общинных дел, — следовательно, если я стану его зятем, я смогу очень легко стать душою богача, и он будет на диво плясать под мою дудку. Тогда у меня было бы всего в изобилии, я нажил бы немалые деньги и жил счастливо, гораздо лучше, чем когда-либо мог себе представить! Но, скажете, она некрасива? Ну, а какое это, в самом деле, имеет значение? Вот Голда — красива, а что мне с того, что она красива? Все на свете вкусно с хлебом...

Я вспомнил о Голде, и стало мне тошно, что она камнем висит на моей шее и счастьем моему мешает. Я в сердце проклинал ее и думал о том, как от нее избавиться.

Сват между тем делал свое, долбил и долбил мне мозги, говорил, что, если я не поспешу, подвернется другой охотник и выхватит это счастье, вырвет из моих рук такую удачную находку и я об этом потом, несомненно, пожалею. Я дал себя уговорить, и этот сват, как расторопный человек, сразу же свел меня с реб Йейсеф-Маркл реб Мониш-Лэйбелес, перед которым расхвалил меня до небес и приписал мне достоинств больше, чем пишут обычно на еврейских надгробьях. Все обстояло хорошо, прекрасно, но отец невесты тре-

155

бовал, чтобы у меня не было ребенка от первой жены. Он ни за что не хотел обременять свою дочь чужими детьми. Я заверил его, что у меня нет детей, а сват, со своей стороны, клялся в этом всем святым, клялся своей долей царствия небесного и другими подобными клятвами. Мы ударили на счастье по рукам и назначили на ближайшее время помолвку. Я принялся усиленно размышлять о том, как найти способ освободиться за это время от Голды,— тихо, мирно, так, чтобы комар носу не подточил.

23

Недели три спустя после рукоблутья в один из вечеров по Цвуняцицу проехала кибитка и остановилась возле дома Голды. Было холодно, ветер сдувал с деревьев желтые листья, и они, устилая землю, о чем-то грустно шушукались между собой и навевали на сердце глубокое уныние. Из крытой кибитки вылез человек, который медленно подошел к дверям и стоял около них некоторое время с таким видом, точно не мог преодолеть чувство отвращения и взяться за ручку. Этот самый человек и был я, своей собственной персоной.

Когда я вошел в дом, меня что-то поразило в самое сердце, и я остался безмолвно стоять у дверей. Голда одиноко сидела на полу в уголке, уронив голову на стул. Она будто дремала и не заметила, как я вошел. На окне красным огоньком горела сальная свечка, рядом стоял стакан воды с обрывком полотна. Я сразу понял, что все это значит, и во мне заклокотали противоречивые чувства. Я вспомнил свое первое появ-

156

ший ребенок, прижав к щечкам кулачки; сладкая улыбка временами пробегала по его личику.— Вот ради кого я хочу жить! — сказала она, показав на ребенка, и лицо ее при этом оживилось, осветилось радостью.

Ребенок вдруг раскрыл глазенки, принялся сосать пальчик, залепетал, по-детски смешно морщась. Мать заулыбалась, забыв в эту минуту все свои горести, точно сама стала ребенком.

— Посмотри-ка, сын,— говорила она игриво младенцу,— смотри-ка, кто здесь стоит: тя-тя! Поздравляю тебя с гостем! Вот это твой тя-тя, тя-тя!..

Во мне вдруг закипела кровь,— ведь я заверил моего будущего тестя, что у меня нет ребенка, и вот — передо мной лежит мой наследничек, который путает мне всю игру. Чувство жалости во мне тотчас погасло, я стоял с сердитым лицом и зло глядел на несчастного ребенка, бедняжку, который, жалобно сморщившись, громко раскричался.

— Ша, ша! — унимала его Голда.— Тихе, глупенький, почему ты боишься своего тяти?

Пока она стояла, нагнувшись к ребенку, я вынул из-за пазухи бумагу и резко швырнул ей в руки со словами:

— Вот тебе от меня развод!..

Голда застыла, ошеломленная, ее точно ударили обухом по голове, она глядела остекленевшими глазами, не произнося ни слова.

— Выслушай меня, Голда! — обратился я к ней.— Как бы там ни было, но ты мне больше не жена, мы друг к другу больше никакого отношения не имеем. И вот, если ты не будешь дурой, не поднимаешь шума и оставишь при себе ребенка, я тебя, конечно, под-

158

ление здесь. Как весело, как красиво все выглядело тут; как счастливо жила здесь когда-то бедная семья! Все в этом доме любили друг друга, были полны светлых надежд на будущее, и эта надежда наполняла их радостью. И вдруг я вторгся сюда, словно кошка в гнездо безмятежных, веселых голубей, и каждого из них прикончил. Михл где-то скитается, неизвестно куда и след его канул, старушку мать и Шейнделе я загнал в могилу, а теперь собираюсь безжалостно покончить с Голдой,— навсегда разрушить ее жизнь...

Я сделал шаг вперед. Голда встrepенулась, словно очнувшись от сна, и мгновение растерянно смотрела на меня. Своим бледным лицом, носившим следы больших страданий, перенесенных ею, своими красными опухшими глазами, в которых отразилась безутешная скорбь, она на секунду пробудила во мне человеческое чувство жалости, и у меня невольно вырвалось:

— Как ты поживаешь, Голда?

— Дорогой гость, право! — ответила Голда с глубоким горестным вздохом и отвернулась,— после долгого молчания он все же вспомнил и явился утешить свою жену в скорби!.. Вот как я поживаю, у меня траур... Ах, Шейнделе, Шейнделе!..

— Голда! — Я бормотал, сам не зная, что говорю: настолько потрясли меня слова, произнесенные ею с такой мукой, что они и камень могли растрогать.

— Пуста и темна моя жизнь. Я бы смерти себе желала, если б не он... Идем! — уже немного мягче сказала Голда, поднялась с полу, проводила меня за ширму и подвела к колыбели, в которой лежал спя-

157



держу: буду время от времени присылать немного денег.

В ответ на мои слова Голда разразилась таким странным диким смехом, что у меня не оставалось сомнений — она сошла с ума. Этот дикий смех перешел в горестный вопль.

— Вон! — крикнула она, гордо выпрямившись. — Ты недостойн, душегуб, даже на миг оставаться в этом доме, где жили когда-то честные люди, которых ты сжил со свету! Будь спокоен, за таким негодяем, как ты, я не стану гоняться. Подумать только — кто был моим мужем! Какой позор! Можешь спокойно жениться! Мне и моему ребенку не нужна твоя помощь! Пока я жива, я сумею своими руками честно заработать нам на жизнь. Вон отсюда, говорю тебе, и забудь, что у тебя где-то есть ребенок. Вон, вон!..

Я выбежал стремглав из дому и, не мешкая, той же ночью уехал.

24

Мой тесть реб Иойсеф-Маркл реб Мониш-Лэйблес оказался волшебным ключиком, открывшим передо мной двери домов крупнейших глупских дельцов, открывшим мне множество секретов всей шатии городских заправил. Его знатность, заслуги его предков сопутствовали мне и помогли стать почитаемым человеком, старостой братств, сунуть свой нос в городские дела и взять наконец в аренду глупского богача. Тогда-то я и начал путь видного деятеля в городе, выдвигаясь с моим медведем штуки согласно закону Исера Варгера, а евреи щедро оплачивали все представления. Я ошутимо убедился в справедливости слов

Мелла Мошер-Сферим

161

Исера, что «такого милого, такого доброго, такого золотого и такого глупого народа, как евреи, не найти на всем белом свете...»

Моя исповедь даст вам понять ничтожную долю моих помыслов, моего поведения на всем жизненном пути.

Каюсь в грехе, коим согрешил, став человеком. К черту, сказал я, все работы на белом свете. Они веки не дадут тебе головы поднять: останешься униженным, забитым, задавленным, всегда — козлом отпущения. Пусть другие работают, по мне пусть хоть костями лягут, а я хочу жить, быть бездельником и хо-рошо жить.

Каюсь в грехе, коим грешил, арендуя. Аренда, приносившая мне легкую наживу, обратила мое сердце в камень. Я не верил в правду, в честность, в милосердие, в дружбу и во все иные добрые человеческие чувства. Я знал лишь то, что было нужно мне, что было полезно мне, и вырывал это у всякого — у бедняков, у вдов и сирот, где и как только мог. Когда бедняк плакал передо мной, заливался ручьями слез, это меня ничуть не трогало. «Что мне в твоих причитаниях, — думал я в такие минуты, — ты лучше дай мне денег! Свое состояние отдай мне, а слезы оставь при себе», — а означает это на языке человека: «Жид, давай гроши!» или: «Давай деньги, собака, а слезами давь сам!..»

Каюсь в грехе, коим грешил, губя. Заповедано — не губи, а я губил. Я присасывался к богачу, к божьей твари на двух ногах с обликом человеческим, и обращал его в медведя.

Каюсь в грехе, коим грешил, обращая людей в скотину. А означает это вот что: все у нас, как пра-

вило, глядят богачу в рот, поддакивая ему и одобряя все, что он делает. Во всем его поведении: в благочестии, в делах веры, в воспитании детей, в домашнем быту и повадках на рынке — воочию виден нрав богача, его вкус, его характер. Все черты воротил города — добрые ли, дурные ли, умные ли, глупые ли — в значительной мере зависят от того, что за человек тамошний богач. Благодаря тому что мы с моим скотиной-богачом корчили глупые гримасы, полезные для нашего дела, многие становились скотинами и, бедняги, постыдно дурачились. Чем глупее все было, тем благопристойнее оно казалось. Глупцу везло, а что уж говорить о невежде, — этот поднимался на самую высокую ступень... А я, горе мне, глядел и наслаждался моими глупцами. Я глядел на них, как торговец скотом на своих быков, и с радостью в сердце определял прибыль, которую они мне сулят.

Каюсь в грехе, коим грешил, измышляя законы. Судей, наставителей я держал в своих руках, и они были вынуждены делать все, что я им приказывал, издавать такие странные, невероятные законы, о которых никто никогда не знал, не слышал. Они запрещали такое, что вполне было дозволено, объявляли праведное неправедным, делали все, что было выгодно мне, потому что не могли мне перечить из страха, что я лишу их, упаси боже, куска хлеба. К примеру, судьи, бедняги, были вынуждены запретить к употреблению в пищу крупных голландских кур потому якобы, что они из породы орлов. Судьи на это пошли, повинувшись мне, а я тут играл на руку откупщику сборов, которому невыгодно было, чтобы люди питались такими крупными курами, — они дают слишком много

мяса, тогда как резнику платят поштучно, то есть столько же, сколько за малых кур.

Каюсь в грехе, коим грешил, занимаясь доносами. Если кому-нибудь не нравилось, как я ворочаю делами в городе, если он не мог спокойно видеть, как страшно обманывают и ослепляют народ, как ему морочат голову, как его водят за нос, держат по горло в зловонной грязи,— таких я и мои подручные успокаивали наговором, обеспечивали «охранным талисманом», то есть писали донос и отсылали туда, куда следовало. Таким образом мы заткнули немало ртов.

Каюсь в грехе, коим грешил, применяя фокус-покус, то есть, вращая волшебный обруч, высасывал деньги из воздуха, изготовлял из снега творожники, вгрызался людям в горло, стоя в отдалении умудрялся укусить, превращал черное в белое, ни с того ни с сего делал из человека чучело, ловил рыбу в мутной воде, безудержно клеветал и делал многие другие подобные фокусы, которые даже Пьенете, самому знаменитому фокуснику, были не под силу.

Каюсь в грехе, коим грешил при выборах. Достоинства, которыми должен обладать человек, чтобы быть избранным на какую-нибудь должность — честность, разум, незаурядность, дар слова и пера,— все эти достоинства, с которыми приличествует предстать перед миром и которыми можно принести много пользы городу, для меня и для моей шатии были недостатками. Мне нужны были только такие люди, которым не приличествует предстать перед миром, которые не могут принести пользу городу,— то, что годилось городу, ни в коей мере не годилось мне. Мне нужен был только послушный лоботряс, только никчем-

ный человек, которого я мог бы, точно кожаное дышло, гнуть куда хочу, который продал бы за грош свою душу, раболепствовал, льстил бы мне и всей моей свите. И так как глупские обыватели, доверчивые, как дети, давали себя дурачить, водить за нос, они при выборах гласного или раввина всегда выбирали того послушного лоботряса, тунеядца, глупца, которого я хотел и от которого они же потом корчились в коликах. Разве может несмышленный ребенок рассчитать заранее, что произойдет потом? Он готов охотно делать все, только бы смочили его губки вином, дали в ручки медовый пряник, заткнули рот пирожком... А то, что потом от всего этого у него начнутся рези в животике и все это ему выйдет боком... Ну что ж, ему так больно будет! Да, не впрок шел этот пирожок обывателю, глупому ребенку моему, долгой хворью он расплачивался за него позднее, на нем, бедняжке, потом лица не было.

Каюсь в грехе, коим грешил, любя благотворительные братства ради великой пользы, которую я извлекал из них... Участников этих братств величали и милостивцами и святыми людьми, и вдобавок к этому титулу им втихомолку перепал, и притом весьма нередко, порядочный куш. У моего тестя был титул «действительный тайный габай», то есть староста, в руках которого в строжайшей тайне хранятся средства братств, и никто, кроме него, не знает, куда эти деньги расходуются... Я вступил во множество братств и дослужился до титула «доверенного», то есть такого деятеля, которому верят на слово: он делает все, что хочет, и не обязан перед кем-либо отчитываться... Все мы, каждый по-своему, запускали руки в общинные кассы, и все оставалось шито-крыто...

*Каюсь в грехе, коим грешил, устанавливая таксы на мясо*¹. «Такса» — это самое грязное, самое зловонное место, где кишмя кишат клопы, черви и прочая подобная нечисть; это оттуда выходят те людишки, те вампиры, которые сами обжираются, а народу причиняют только горе; «такса» — это напасть, проклятие, которое ощущается во всем и является источником многих бед. Из-за «таксы» евреи хворают, они худы, измождены и страдают от болезней, переходящих по наследству из поколения в поколение. При помощи «таксы» у нас всегда находят способ обдирать народ. Каждый грош «таксы», как магнит, притягивает к себе еще и еще — много народных денег, грош к грошу, и кучка все растет, растет, пока не вырастает в заметный холм. Благодаря «таксе» у нас рождаются и становятся на ноги целые оравы таких существ, которые всяким плутовством морочат народ, одурачивают его. Из «таксы» выползают и с ее помощью получают пропитание все эти божьи стряпчие, воротилы, распутники, разного рода благодетели, которые попросту душу выматывают своей добротой и благочестием. Короче, благодаря «таксе» многие людишки, приобретают у нас силу, влияние, право творить все, что им выгодно, все, что в их воле. Я и сам, горе мне, был одним из тех людишек. Я сам сосал из «таксы» и стоял за нее горой, потому что знал главное: пока у евреев существует «такса», они будут находиться под пятой у таких людишек, как я с моей шатней, их можно будет держать в страхе, как

маленьких детей, толкать на всякие глупости, делать с ними все, что заблагорассудится. Я отстаивал «таксу», и «такса» служила мне опорой. Я даром ел самое лучшее, самое упитанное мясо, а бедняки платили дорого и грызли кости, они, бедняки, были овцами, а я — волком, я загрызал, душил и немало высосал за свой век еврейской крови...

Каюсь в грехе, коим грешил, во зло обращая страх перед небом. Во всех моих плутнях я пользовался этим страхом. Всегда почему-то получалось так, что я делаю все только во имя неба, что я заступаюсь за бога, оберегаю его народ, дабы остался он таким, какой есть. А так как для меня и моей шатии было куда выгоднее, чтобы евреи оставались глупцами, забитыми людьми, нетрудно понять, как не по душе мне было всякое подлинно умное слово, которое могло бы раскрыть им глаза. Как усердно я, якобы во имя бога, благословлял всякий вздор, старался изо всех сил поддержать малейшую глупость; как бесконечно фальшив я был и как ничтожна была подлинная цена моему страху перед небом! И если случалось событие, благоприятное для евреев, я объявлял его напастью и вместе с моими людьми принимал все меры, чтобы эту напасть устранить. К примеру, позволить еврейским детям учиться писать и считать, чтобы они потом могли честно зарабатывать свой кусок хлеба, у нас называлось напастью. Если евреи красиво одевались, а не носили постыдные одежды, в которые некогда заставили их обрядиться враги, это опять-таки называлось напастью. Если возникало предположение, что будет упразднена «такса», это тоже называлось напастью... Мы и при этих «напастях» не оказывались в накладе, наоборот, многие сделали из них

¹ Такса на мясо, или коробочный сбор,— налог на кошерное мясо, который сдавался царским правительством на откуп, и откупщик выколачивал его из еврейской бедноты.

доходную статью, нажились и живут где-то там... Со всем недурно живут по сей день. Мне, грешному, от этих святош в ермолках немало денег в карман перепало.

Каюсь в грехе, коим грешил, создав свою шатию, людей, способных на всякую мерзость, каюсь в язычии, махинациях и доносах, помыкании слабыми, устранении недовольных, хранении в тайне темных дел, наглости, лицемерии и мошенничестве; в разыгрывании комедий в местах общинных сходбищ и контролах, клевете и злодействе; одурачивании, лжи, вымогательстве и плутовстве; притворстве и насилии. Смысл всего названного лежит на самой поверхности, и мне не к чему вам все это объяснять.

25

Выше мною уже было сказано, что от природы я не был ни тупицей, ни глупцом, а только забит и загнан, теперь же я должен еще заметить, что, по всем признакам, я от природы не был также ни черствым, ни жестоким: на дурной путь меня толкнули. Причиненные мне некогда жизнью большие страдания в соединении с «наукой», пройденной у Исера, ожесточили мое сердце и озлобили меня. После того как я совершал преступное деяние, во мне иногда возникало какое-то неприятное чувство, которое, точно булавоный укол, длилось мгновение, одно только мгновение, и тут же исчезало. Возьмите, к примеру, такого человека, как Гутман! Такого хорошего, честного человека, с таким добрым сердцем, как Гутман, его, который так по-дружески обошелся со мной, послушайте только: его и ему подобных я чурался, как чумы! Когда подобные ему приносили мне с поклоном книжки,

168

громче и громче возвышал голос, говорил мне все злее и злее. Недобрые события последних лет были для меня тяжелым испытанием, подлили масло в адский огонь, пылавший во мне.

Жена, говорят, — это зеркало дома. Какова жена, таков и домашний уклад. И, как я смог убедиться, это действительно правда. Ладно уж, о своей жене я здесь говорить не хочу. Бог с ней... Речь идет о моем доме. Мой дом был без присмотра, не имел вида. Казалось бы, богатая обстановка, безделушки, украшения, но все было неопрятно, грязно, уродливо, — смотреть противно. Во всем царило уныние, пахло запустением, все было совсем не так, как должно быть в доме. В молодости, когда я всем существом отдавался наживе, был захвачен суетой, я притворялся безразличным, — ладно уж, так и быть, пустое! И когда мне хотелось насладиться жизнью, доставить себе удовольствие, я искал его вне дома. Но в старости, когда хочется покоя, хочется посидеть у себя дома, среди близких, я глубоко почувствовал свое одиночество, свое несчастье, — нет у меня дома! И это чувство привело к тому, что жизнь мне стала не мила. Обдумывая свои прежние деяния, я сильно печалился и говорил: великий творец, ой и грешил же я! И сам себя вопрошал: к чему, ответь, все это нужно было, к чему весь твой труд, все твои затеи? К чему богатство, — ради кого?.. Двое детей моих, хилые, болезненные, недавно умерли, и это разбило мое сердце. И, точно пораженный громом, я с горечью спрашивал себя все о том же: к чему все это богатство, когда ты так одинок, когда нет у тебя того самого... дома, домашнего очага, значит? О боже мой, сколько я грешил, и — кто мне скажет? — ради кого?!

170

38

я издевался над ними, как над злейшими врагами. Это было преступлением с моей стороны, и я иногда это чувствовал, но ненавидеть их я должен был, иначе я не мог.

«О, будь они прокляты, те людишки, что сочиняют книги! Ненавидеть их надо! Они только и норовят влезть другому в душу, натворить бед своей писаниной, своими колкостями. Все у них получается «возвеселимся и возликуем», — и гладко и занозисто. Это чудо, что ослу не даны рога; что такие злыдни, как они, не имеют денег, ни гроша за душой, что они, благословен господь, попрошайки, последние бедняки. Им все-таки приходится ради гроша нам кланяться, иначе было бы плохо! Единственное средство, чтобы эти клопы не кусались, это грош, — надо заткнуть им рот и вместе с тем исподтишка опутать их и угробить!» — так сказал Исер Варгер!

А слово Исера было для меня святым законом!

Но обо всем этом уже говорено раньше. Дьявольская страсть к деньгам очень крепко засела во мне. Я, точно губка, все вбирал, вбирал, а страх перед нищетой со всеми ее бедствиями и страданиями, всегда стоявшей перед моими глазами, ни на миг не покидал меня, — какое же место оставалось в моем сердце для добрых чувств? В лучшем случае они пробегали молнией и тут же исчезали. Но позднее, когда я уже сверх всякой меры насосался крови, когда пришло пресыщение и страх перед нищетой отступил куда-то в сторону, а дьявольская страсть к деньгам ослабла, — тогда только во мне зашевелился скованный сном дух добра, вышел из потаенного уголка в глубине моего сердца и сначала немногословно, сдержанно, тихо, с робким упреком, но чем дальше, тем

169

И вставал перед моими глазами добрый и тихий Гутман. Как приветлив, как он ласков был со всеми людьми! Он был бедняк бедняком, но как сияло, как все блестело в каждом уголке его дома! Сколько радости доставляла ему жена, красивая, любимая, золотая хозяйка, его добрые, образованные дети, которые искренне уважали и любили его! Он терпел нужду, но как же он был всегда благодушен и весел!..

Одажды, помню, жена его, бедняжка, сильно плакала. Уже близилась пасха, до нее осталось всего несколько дней, а в доме еще не было и признаков праздника. Он целый день посылал меня с книжками, но никто их и в руки брать не хотел. Каждый, кому я принесил его записку, воротил нос и не отвечал ни единым добрым словом. А мадам, добрая милая мадам, верная жена, которая так любила его, плакала, бедняжка, и очень сокрушалась.

— Ах, — утешал ее Гутман, — ты, право, грешешь, душа моя, проливая слезы! Нам ведь гораздо лучше, чем иным, разбогатевшим при помощи плутней, справляющим праздник на заработанные нечестным путем деньги. Мы же, упаси боже, ни у кого ничего не отняли, никому не причинили зла. Мы страдаем?.. Но страдать за правду куда прекрасней и благородней, чем быть счастливым с помощью лжи! Душа моя, не горюй, право, не надо горевать! Бог нам помогал, бог нам поможет и впредь. Что иное ему останется? Он ведь будет вынужден как-нибудь помочь нам. В самом деле, к чему мне два сюртука и шуба? Ведь носят-то один сюртук, а не два, да и шуба теперь, пожалуй, тоже вещь лишняя: дело идет к лету, а в сундуке ее, чего доброго, еще побьет моль. А ну-ка, Абрам, не поленись, пожалуйста, и немедленно отнеси эту шубу

171

и этот сюртук в заклад или продай их, сделай с ними что хочешь, и будет у нас маца на пасху, горькие и сладкие приправы, все, что душе угодно.

Эта сцена часто возникала перед моими глазами. Я видел, что Гутман был счастлив и без денег. Отсюда, видимо, следует, что счастье совсем не в деньгах, а в чем-то ином, — только честные люди бывают счастливы и довольны. При этом в моей памяти всплыли слова, сказанные Гутманом однажды Якобзону: «Страдать — означает льстить, лицемерить. Лстец, лицемер вынужден всегда бояться, остерегаться, точно вор». Только теперь я стал понимать, как справедливы, как верны были его слова. Гутман лишь рассудком постиг, что лстецу, лицемеру плохо, как вору: ему всегда приходится бояться, остерегаться, как бы его не разгадали, как бы не разоблачили его дурных дел, — а жить вечно в страхе, быть вынужденным вечно скрывать свое истинное лицо — это штука далеко не из приятных. Я же теперь ощущал это сердцем, чувствовал, что фальшивому человеку всегда как-то не по себе, даже без всяких причин. Что-то его гнетет, что-то камнем лежит на его сердце, что-то будоражит его кровь, голова чуть не раскалывается, в груди бешется ад, беснуется огонь, ему почему-то тесен мир, и он не знает куда деваться. Он готов выпрыгнуть из самого себя, с радостью бежать от себя куда-то далеко-далеко, куда глаза глядят, к черту на рога!

Меня часто мучили злые кошмары. Мне мерещилось, что в руках у меня нож и я вонзаю его в горло своих жертв. Мне чудилось, будто я слышу стоны, вздохи, хрипы умирающих, будто вся моя одежда забрызгана кровью. Михл, добрый тихий Михл, мертвенно-бледный, часто мелькал перед моими глазами.

172

А на улицу — не смей! —
Воет волк, рычит медведь,—
Козочка мэ! Козочка мэ!

Горе мне, не доглядела я,—
Козочка пропала белая;
Где мне, где искать ее?
Горе мне, дитя мое!..

С этими словами Голда встает: кровавые слезы катятся из ее глаз; она смотрит по сторонам, протягивает руки и кричит диким голосом: «Ой, не стало моей белой козочки!» Я в диком страхе выбегаю из дому, мне всюду мерещатся волки, медведи!.. На зубах у волков и медведей хрустят нежные косточки, и издали слышатся отчаянные вопли бедной, несчастной козочки!..

26

Если человека гнетет горе, гласит изречение, пусть выговорится. Таить про себя горести, не высказывая их, это — боль, которую трудно вынести: ведь и кипящий железный котел может взорваться, если стиснутый в нем пар не находит себе выхода. А у меня в сердце клокотало сильнее, нежели в котле, — там пылал ад!.. Мои прежние грешные дела, тяжелые чувства и мрачные жестокие кошмары — все вместе, точно густое пламя в огнедышащей горе, сплелось и металось во мне, изводя до смерти. Гораздо легче грешнику нести муку в аду, чем нести ад в себе.

Тогда-то я и увидел, убедился, что человек несет свой ад и свой рай в себе. Его судья сидит на судейском троне в нем самом. О, если бы я мог излить мое

174

Он скорбно глядел на меня, показывал на опутывавшие его цепи и с печальным лицом все спрашивал: «Ответь, Ицхок-Авром, что я тебе сделал?..»

Старушка и Шейнделе выростали словно из-под земли, обе задыхались в кашле, впивались в меня красными пылающими глазами и кричали: «Вот он, наш убийца! Вот он — злодей, душегуб!» Вдруг они превращались в груды костей, из костей вылезали черви и ядовитые змеи, которые, раскрыв пасть, бросались на меня и кусали, жалили, кололи, точно иглами!..

Больше всех дожимала меня Голда. Мне казалось, будто я вижу ее, одинокую, подавленную, скорбную, за работой. Игла колет ей пальцы, она же ничего не чувствует, даже не скривится от боли, а продолжает машинально шить и качает, качает ногой тяжелую скрипящую колыбель, тихо напевая при этом «баю-баюшки-баю!» И голос ее невыразимо печален. А колыбель пуста, никого в ней нет. «Голда! — кричу я. — Где он? Где ребенок?» Голда качает и продолжает петь, не отвечая мне ни единым словом:

Баю-бай, сыночек мой,
Мать склонилась над тобой!

Колыбелька чуть скрипит,
Козочка-белянка спит,—
Козочка мэ! Козочка мэ!

Ты не плачь, не кричи,
Одинокий мой, молчи! —
Козочка мэ! Козочка мэ!

Пуст и темен белый свет,
Ни тепла, ни пищи нет,—
Козочка мэ! Козочка мэ!

173

сердце, чтобы облегчить немного свои страдания! Мне некому было открыться. Серебра и золота нажил я на этом свете много, но верных друзей — ни одного.

Великой милостью всевышнего считаю я, что он надушил меня высказаться если не устно, то хоть с помощью пера.

Сам бог, указавший на дерево в Мерре, способное сделать горькую воду сладкой¹, указал мне на перо, чтобы с его помощью облегчить мои страдания.

В эти мучительные, трудные минуты, когда на сердце у меня бывало очень тяжело, я как умел изливал на бумаге свою наболевшую душу. Вначале это давалось мне нелегко: непривычно мне было; потом пошло как будто само собой, словно я доброму другу своему рассказывал, раскрывал перед ним свое сердце. С течением времени мои рукописи выросли в полное жизнеописание, и — послушайте только! — когда я прочитал их от начала до конца, у меня немного полегчало на душе! Грехи мои уже не казались мне такими тяжкими. То есть грехи отдельной личности, мои грехи оказались не только моими личными, но и грехами общества, доля вины, а может быть, и наибольшая доля вины, лежит на общине с ее порядками.

Возьмите, к примеру, еврейские талмудторы!

Обездоленных детей, бедняжек, сирот, загоняют в какой-то полуразрушенный сарай, где они, голодные, оборванные, проводят дни в грязи и мусоре; бьют и секут их сколько влезет, а учить — ничему их там не

¹ Согласно библейской легенде, древние евреи после долгих поисков воды нашли ее в Мерре. Однако пить эту воду нельзя было, потому что она была горькая. И бог сотворил чудо: он указал на дерево, которое следовало бросить в воду, после чего она стала сладкой.

175

учат. Делают из них бездельников, превращают в несчастные, никчемные существа — ни богу, ни людям. Не лучше необузданных мелаamedов талмудторы и, с позволения сказать, старосты, собирающие пожертвования, дерущие с живых и мертвых якобы для бедных еврейских детей. Они твердят об одном: надо вырастить из бедных детей добрых евреев. А растят из них существа, лишенные человеческого облика!..

Шутка ли сказать, что я, одинокий сирота, вынес в детстве в талмудторе! Я уже не говорю о том, как истязали мое изможденное тельце, ведь на то я и был нищ, чтобы терпеть голод, холод и побои, но, помилуйте, за что они — боже, боже! — изуродовали мою душу? Унизили в ней все человеческое! Мало того, что меня не научили жить человеком среди людей, во мне убили чувство чести, человеческое достоинство грубым обращением — бранью, сквернословием.

Вот оно, еврейское вероучение, которое жалостливые люди несут бедным детям!

А каково у нас, к примеру, с ремеслом?

Ремесло, как известно, низко оценивается среди евреев. Насколько бездельник, просиживающий все дни в синагоге, является предметом гордости, настолько ремесленник — позорное пятно в семье. Всякий, считающий себя порядочным человеком, хоть он и пухнет с голоду, не хочет обучать своих детей какому-нибудь ремеслу. На это имеются беспризорные сироты, дети низов, простонародья. Этим отдают в учение к ремесленникам, и никто не позаботится проследить за тем, как они учатся, как с ними там обходятся. Обучение ремеслу начинается обычно с того, что детей заставляют выполнять всякую работу по дому: выносить помой, таскать воду, нянчить хозяйских детей,

176

детей не только иудаизму¹ и древнееврейскому языку, но и языку нашей страны и светским наукам, дабы вырастить из них настоящих людей, угодных богу и полезных ближним. В другой школе — таково мое желание — пусть обучаются науке и ремеслу одновременно; пусть там воспитываются ученики, не знающие позора, оскорблений и унижений, пусть они выйдут оттуда хорошо обученными ремесленниками, знающими себе цену, и тем самым заставят других ценить их по достоинству.

Чтобы осуществить это мое желание, необходимо собрать в этих школах хороших учителей, людей с чувством и разумом, с сердцем и головой, любящих и знающих свое дело. И главное — это любовь к детям, потому что они ведь будут иметь дело с обездоленными, загнанными, одинокими детьми, жаждающими той любви, какой хочется юному сердечку любого живого существа и которой они, бедняжки, еще не видели.

Доброе слово проникает в детей глубже, действует на них лучше всяких в мире угроз, упреков и поучений, и они готовы за него идти в огонь и в воду. Это я испытал когда-то в детстве на самом себе.

Однако это дело потребует хороших руководителей, под чьим наблюдением все выполнялось бы наилучшим образом, а такими, желаю я, чтобы были вы, рабби, и герр Гутман. Благодаря вам обоим в ново-созданных школах сольются воедино наука и мудрость. Вы, рабби, будете следить за тем, чтобы занятия по еврейским предметам проводились как должно, а Гутман, со своей стороны, пусть наблюдает за всем,

¹ Иуданизм — термин, принятый для обозначения религии, распространенной главным образом среди евреев.

178

сопровождать хозяйку при покупках, приносить и относить заказы, вечно хлопотать по хозяйству, выполнять любые капризы, терпеть побои и оскорбления; вдобавок, дети слышат от подмастерьев похабные разговоры, всякие любовные истории, рассказанные так, что если в детях тлела искра человечности, то и она гаснет. Вот чем начинается обучение ремеслу, а кончается оно тем, что выходит никудышный мастеровой, одно только слово, что работает.

Обвинять во всем ремесленников тоже нельзя. Ведь и они, бедняги, в свое время изрядно намучились и, как тысячи других обездоленных детей, тоже начинали с помойных ушатов и иной подобной работы. До сих пор печально звучит в моих ушах песенка сапожника, которой он, бывало, в шутку напутствовал меня, когда я выносил помой: «Воздайте почести Ицику! Тащи, тащи, милейший Иценю-Авремену! В твои годы я достаточно помойных ушатов перетаскал!»

Я грешен, создатель, но мой грех падает не только на меня. Благодарю тебя, что ты раскрыл мне глаза!

Ты раскрыл мне глаза, создатель, и не напрасно. Я желаю совершить такое, что могло бы оградить других от зла и показало бы евреям прямой путь избавиться от своих заблуждений, искупить свою вину перед обездоленными детьми.

Согласно моему завещанию, копию которого я посылаю вам, рабби, мой большой дом предоставляется под талмудтору для обездоленных детей и школу для обучения ремеслам. Прибыли от лавок и часть процентов с оставляемого мною благотворительного фонда пусть идет на содержание обеих этих школ. В талмудторе — таково мое желание — пусть обучают

12 Менделе Мойхер-Сфорим

177

что касается общего просвещения. Зная хорошо вас обоих, я надеюсь, что вы будете довольны друг другом. Оба вы желаете добра нашему народу, и каждый из вас будет делать для него все, что может, будет стараться быть ему полезным, чем может. Оплата за этот труд определена в моем завещании.

Остальные поступления от благотворительного фонда вы вдвоем с Гутманом употребите на всякие благие дела в городе, такие, какие вы оба сочтете необходимыми. Быть может, неплохо было бы учредить большой хедер для множества детей с настоящими хорошими мелаamedами и учителями, где изучались бы еврейские священные книги и светские науки; где дети научились бы быть не только евреями, но и полезными, разумными людьми. Мне было бы очень желательно, чтобы на такой городской хедер вы ежегодно отпускали известную сумму из поступлений от благотворительного фонда, но при условии, если вы с Гутманом будете постоянно опекать этот хедер.

Я знаю, такой хедер, которым руководили бы вы и Гутман, явился бы счастьем для еврейских детей. Но вместе с тем — именно потому, что такой хедер явился бы счастьем для еврейских детей, я знаю, он окажется не по нутру всякого рода человекам, и они будут сопротивляться, плутовать, прикрываясь страхом божьим и грозя карой господней, утверждать, что это противно духу еврейства. Они будут изыскивать всяческие средства, только бы не допустить подобного. И тем не менее вы, рабби, со своей стороны попытайтесь сделать все, что только возможно. Авось бог явит вам свою милость.

Однако все, что будет по моей воле сделано для бедных детей здесь, в моем городе, еще недостаточ-

12*

179

но. Одна ласточка не делает весны. Нужно подвинуть на это и других, чтобы нечто подобное было создано во всех местах еврейских поселений. Поэтому желаю, чтобы моя исповедь вместе с этим завещанием были напечатаны. Пусть они звучат в ушах богачей, дельцов, в ушах всего еврейского народа. И если даже слова мои не воздействуют на них, не сделают их лучше при жизни, не заставят их понять, что делать для облегчения доли своих бедных братьев, творить добро и праведно жить, они по крайней мере научатся умирать... Сколько богачей довелось мне знать за мой короткий век, и все они до последнего своего дыхания оставались такими, какими были, и умерли глупцами. Пусть же богачи услышат эту исповедь, эти слова мои, и, глядя на меня, научатся хотя бы умирать, уходить из этого мира людьми.

Умирайте, богачи, умирайте! Умирайте как люди!.. Но до той поры, пока моя исповедь достигнет ушей всех, вы, рабби, до моего погребения прочтите ее перед нашими местными богачами. Для меня это будет искуплением грехов, а для них — поучительно. Ничего, пусть знают!..

Привести в должный порядок все эти бумаги, исправить мои грубые ошибки, добавить немного перцу, немного пряностей, чтобы шипало, чтобы приобрело вкус, напечатать отдельными книжками и распространить их потом в мире — на все это мастак один только Менделе Мойхер-Сфорим. Я помню его по Цвуячицу, когда он был еще молодым человеком и ходил в молодоженах. Ему передайте это, и он, надеюсь, поймет все и проникнется моей волей наилучшим образом. Разумеется, его труд должен быть щедро оплачен».

180

С какой стати? Собрать людей и говорить им в глаза такое... Как так? С какой такой стати? Превратить людей, превратить всех нас, простите, в это самое... Кто его просил такое говорить?.. Про себя самого говори, пиши, но при чем тут посторонние? Кто тебе дал право соваться в дела другого? Нет, рабби! Это большая несправедливость!

— Ну, реб Менделе, — обратился ко мне раввин после того, как все богачи разошлись, — скажите, пожалуйста, прошу вас, кто такой у вас там в Цвуячице этот герр Гутман?

— Из Цвуячица, рабби, я уже давно выехал. Когда я сделался продавцом книг, я с семьей сразу же выехал оттуда в Кабцанск. И по сей день я кабцанский еврей!

— Но Гутмана вы знаете, реб Менделе?

— Да, рабби, я очень хорошо помню его — этакий «немец» с холеной бородкой, но очень хороший, честный человек. Недаром говорят: лучше человек без бороды, чем борода без человека.

— Вот я и прошу вас, реб Менделе, потрудитесь, пожалуйста, съездить, не мешкая, завтра же в Цвуячицу, передать герру Гутману мое письмо и, как вы это умеете, убедить его поскорее и во что бы то ни стало приехать сюда, дабы мы смогли тотчас же выполнить волю покойного. И еще прошу вас, милейший реб Менделе, возьмите на себя труд, напечатайте все эти бумаги, сделайте множество книжек, распродайте их во всех еврейских поселениях, да по дешевой цене, чтобы народ больше покупал. Об оплате вашего труда говорить не стоит, все будет, бог даст, как быть тому и надлежит.

182

27

Когда раввин кончил читать и отложил в сторону бумаги, среди собравшихся в каморке разгорелись страсти. Богачи были в невероятном гневе. Одни с досады кусали губы и молчали, другие жужжали, точно мухи, третьи вздыхали, охали, ойкали.

— Что вы так вздыхаете, реб Хоне? — обращается один богач к другому и при этом сам вздыхает.

— Те-те-те! — ворчит реб Хоне, покачивая головой. — Так вот оно что... Вот куда его занесло! Поди и верь после этого людям... Мир стал уже не тот, право же, мир оскудевает... Поистине оскудевает, какой срам! Такое... а, что? Ужас, честное слово!.. Ведь что же это, в самом деле, получается, реб Бериш... Ну, и история, какая история!..

— Я уж и раньше понял, — отвечает Бериш, — куда пуля метит. Ай-ай, у меня нюх, реб Хоне... К чему нам, глупцам, понадобилось сидеть тут и, подобно осламу, дожидаться, пока пуля нас настигнет? Разве я не говорил: тыфу, тыфу!.. Уйдемте! Почему же вы остались, а? Чтобы до конца услышать все колкости?.. Но с другой стороны... Пусть так... Так и быть! Что особенного?.. Правда, это немного того... Досадно... Но ладно, ничего, реб Хоне, мы уже и не такое слышали. И что особенного, в самом деле, случилось?.. Конечно, поначалу вы, быть может, и были правы, это и в самом деле... того... Как бы это сказать?.. Но по сути дела — вздор, пустое!.. Глупец остается глупцом, а все на свете как шло, так и идет, все остается таки по-прежнему...

— Нет, нет, рабби! — кричал кое-кто из богачей в сильнейшем возмущении. — Это неслыханно...

* * *

Возвратившись назад к синагоге, я застал свою лошадку в очень бедственном положении. Озорники, сорванцы вырвали у нее почти все волосы из хвоста на струны, оставив в нем что-то около сорока волос. Жрать ей было нечего. Она стояла серьезная, свесив нижнюю губу, глядела на тележку с книгами и размышляла. О чем может размышлять лошадь, глядя на книги, это нашему уму непостижимо. Знаю только, моя злополучная глядит и размышляет; пусть лошадиный, по это все же взгляд... Но не в том суть. «Ну, умница моя, — восклицаю я, ухватив мою злополучную за пейс, то есть за чуприну, — тебе я задолжал сегодня много овса. Ты поступила как разумница, что привела меня в Глупск. Своей мудростью ты принесла пользу и мне и литературе. Да понимаешь ли ты, лошадка, что ты такое совершила? Какое прекрасное сочинение мне теперь суждено издать, и только благодаря тебе, благодаря твоему уму, подказавшему тебе двинуться на Глупск! Отныне ты веди меня, лошадка, ты, умница моя, я отпускаю вожжи и складываю перед тобой мой кнут!..»

Назавтра я закончил все необходимые приготовления и двинулся в путь.

Прибыв в Цвуячицу, я узнал, что Гутман оттуда выехал, и неизвестно, где он теперь находится. Я принялся за свое дело, поспешил поскорее напечатать эту книгу, не жалел труда, чтобы она получилась, как сказано, «возвеселюсь и возликую», то есть гладко и занозисто... Пользуюсь возможностью и печатаю здесь еще и вот это:

183